

Первые лица

Лев Троцкий

СТАЛИН

Том I

Коба



Лев Давидович Троцкий Сталин. Том I

текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=177741
Л. Троцкий. Сталин. Том 1:

Аннотация

Сколько бы ни издали еще книг об Иосифе Виссарионыче – все они будут вызывать споры и обвинения в необъективности. Такой он был человек (а может, и не человек, нелюдь или монстр?). Однако мемуары Льва Троцкого занимают особое место среди огромного количества книг о Сталине. Прежде всего потому, что, в отличие от других авторов, Лев Давидович много лет знал его лично и был непосредственным участником описываемых событий. Неумолимый и надежный как ледоруб принцип «нет человека – нет проблемы» не позволил Троцкому дописать книгу до конца, но даже то, что удалось опубликовать, вызвало потрясение и у сторонников Сталина, и у его ярых противников. Почему? Да потому, что и те, и другие прекрасно понимают: товарищ Сталин все еще с нами!

В первом томе воспоминаний Троцкого описывается период до 1917 года, в который Иосиф Джугашвили-Сталин (он же Коба) прошел большую часть своего кровавого пути к власти.

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	4
СЕМЬЯ И ШКОЛА	11
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР»	28
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Лев Троцкий Сталин. Том 1

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я с гораздо большей подробностью, как увидит читатель, останавливался на формировании Сталина в подготовительный период, чем на его политической роли в настоящее время. Факты последнего периода известны каждому грамотному человеку. Критику политики Сталина я давал в разных работах. Цель этой политической биографии – показать, каким образом сформировалась такого рода личность, каким образом она завоевала и получила право на столь исключительную роль. Вот почему [интересны] жизнь и развитие Сталина в тот период, когда о нем никто или почти никто не знал. Автор занимается тщательным анализом отдельных, хотя и мелких, фактов и свидетельских показаний. Наоборот, при переходе к последнему периоду он ограничивается симфизическим изложением, предполагая факты, по крайней мере важнейшие, известными читателю.

Критики, состоящие на службе Кремля, заявят и на этот раз, как они заявляли по поводу «Истории русской революции», что отсутствие библиографических ссылок делает невозможным проверку утверждения автора. На самом деле библиографические ссылки на сотни и тысячи русских газет, журналов, мемуаров, сборников и пр. очень мало дали бы иностранному критику или читателю, а только загромождали бы текст. Что касается русских критиков, то в их распоряжении есть аппарат государственных архивов и библиотек. Если бы в моих писаниях были бы фактические ошибки, неправильные цитаты, неправильное использование материалов, то на это было бы указано давным-давно. На самом деле я не знаю ни в одной антитроцкистской литературе ни одного указания на неправильное использование мною указанных источников. Этот факт, смею думать, дает серьезную гарантию и иностранному читателю.

В своей «Истории» я всячески устранял элементы мемуаров и опирался только на те данные, которые были опубликованы и потому подлежат проверке, в том числе и на свои собственные показания, которые никем не были оспорены в прошлом. В этой биографии автор считает возможным отступить от этого слишком сурового метода. Главная ткань повествования опирается и здесь на документы, мемуары и другие объективные источники. Но в тех случаях, где ничто не может заменить показания памяти самого автора, я считал себя вправе приводить те или другие эпизоды, личные воспоминания, ясно оговаривая каждый раз, что выступаю в данном случае не только как автор, но и как свидетель.

Автор следовал в этой биографии тому же методу, какому он следовал в своей «Истории русской революции». Многочисленные противники признали, что книга опирается на факты, сгруппированные научным методом. Правда, обозреватель «New York Times» отверг книгу, как пристрастность. Но любая строка его статьи показывает, что он возмущен русской революцией и переносит свое возмущение на ее историка. Это обычная aberrация у всякого рода либеральных субъективистов, находящихся в разладе с ходом классовой борьбы. Недовольные результатом исторического процесса, они осуждают тот научный анализ, который обнаруживает неизбежность этого результата.

Будут ли выводы автора признаны объективными – все или часть их, в конце концов, не так существенно. Гораздо важнее оценка методов. Здесь автор не опасается критики. Он прошел через работу, опираясь на факты и в полной солидарности с документами. Могут, разумеется, встретиться те или другие частичные, второстепенные погрешности или ошибки. Но чего в этой работе никто не найдет, это недобросовестного отношения к фактам, игнориро-

вания документов или произвольных выводов, основанных только на личных пристрастиях. Автор не оставил в стороне ни одного факта, документа, свидетельства, направленного в пользу героя этой книги. Если внимательное, тщательное и добросовестное собирание фактов, даже мелких эпизодов, проверка свидетельских показаний при помощи приемов исторической и биографической критики, наконец, включение фактов личной жизни и исторического процесса, — если все это не есть объективность, то остается спросить, в чем же собственно она состоит? [Так как] источники сфабрикованы Сталиным, критика источников относится не к технике писания, а к самому существу. Нельзя не подвергая критике детальной всевозрастающей фальсификации подготовить читателя к пониманию таких явлений, как московские процессы.

В известных кругах охотно говорят и пишут о моей ненависти к Сталину, которая внушает мне мрачные суждения и предсказания. Мне остается по этому поводу только пожимать плечами. Наши дороги так давно и так далеко разошлись, и он в моих глазах является в такой мере орудием чуждых мне и враждебных исторических сил, что мои личные чувства по отношению к нему мало отличаются от чувств к Гитлеру или к японскому Микадо. Что было личного, давно перегорело. Уже тот наблюдательный пункт, который я занимал, не позволял мне отождествлять реальную человеческую фигуру с ее гигантской тенью на экране бюрократии. Я считаю себя поэтому вправе сказать, что никогда не возвышал Сталина в своем сознании до чувства ненависти к нему.

Прежде, чем стать царем в Израиле, Давид в отрочестве пас овец. Это не подавило в нем богатых духовных дарований, которые нашли себе в красотах природы сильнейший стимул к развитию. Благодаря искусной игре на арфе он был приглашен ко двору, чтобы музыкой разгонять тоску Саула. Исключительная карьера Давида становится более понятной, если принять во внимание, что почти все сыны полукочевого израильского народа пасли овец и что искусство управления людьми было в ту пору немногим сложнее искусства управления стадами. С тех пор, однако, общество сильно дифференцировалось, династии обособились и специализировались, так что когда один из современных нам монархов увлекся, по примеру царя Давида, некой Вирсавией из Бостона и, вследствие парламентских условий новой эпохи, вынужден был покинуть трон, епископу Кентерберийскому, современному Самуилу, не пришлось искать ему преемника среди пастухов: деликатный вопрос разрешился в порядке династического автоматизма.

Со времени царя Давида человеческая история знала немало ослепительных восхождений, не только в древнем Риме, но и в новой Франции. Дело шло в этих случаях почти исключительно о полководцах. Доказав на поле брани свою способность командовать вооруженными людьми, они тем увереннее повелевали затем безоружными массами. Это относится к Юлию Цезарю, как и к Наполеону. Правда, так называемый Наполеон III совершенно лишен был военных дарований. Но он не был и простым выскочкой, он был или считался племянником своего дяди, над головой его летал прирученный орел; без этой символической птицы голова принца Луи-Наполеона стояла немного.

Все его инстинкты и чувства перевешивала фантастическая вера в свою звезду и преданность «наполеоновским идеям», бывшими руководящими идеями его жизни. Человек страстный и вместе с тем полный самообладания (по выражению В. Гюго, голландец обуздывал в нем корсиканца), он с юности стремился к одной заветной цели, уверенно и твердо расчищая дорогу к ней и не стесняясь при этом в выборе средств: «Гармония между правительством и народом существует в двух случаях: или народ управляется по воле одного, или один управляется по воле народа. В первом случае это деспотизм, во втором — свобода».

Он нанял пароход, организовал в Лондоне экспедицию и, привлекая на свою сторону нескольких офицеров булонского гарнизона, 6 августа 1840 г. высадился в Булони. Не огра-

ничиваясь костюмом, шляпою и обычными знаками императорского достоинства. Наполеон имел при себе прирученного орла, который, выпущенный в определенный момент, должен был парить над его головою. Но этот момент не наступил, так как вторая попытка окончилась еще плачевнее, чем первая.

Накануне мировой войны даже карьера Наполеона III казалась уже фантастическим отголоском прошлого. Демократия была прочно установлена, по крайней мере в Европе, в Северной Америке и в Австралии. Конституционная механика представительства казалась единственно приемлемой для цивилизованного человечества системой управления. А так как цивилизация продолжала расти и шириться, то будущность демократии казалась несокрушимой. Многие и сейчас еще живут в XIX веке. На самом деле демократия привела к диктатурам.

События в России нанесли первый удар этой исторической концепции. На смену царизму после восьмимесячного интермеццо демократического хаоса пришла диктатура большевиков. Но здесь дело шло об одном из «эпизодов» революции, которая сама казалась лишь продуктом отсталости России, воспроизведение в XX веке тех конвульсий, которые Англия пережила в середине XVII века, а Франция – в конце XVIII. Ленин представлялся московским Кромвелем или Робеспьером. Новое явление можно было, по крайней мере, классифицировать, и в этом заключалось утешение. Вера в незыблемость законов либеральной демократии продолжала оставаться почти незатронутой.

Для Муссолини, как через 11 лет для Гитлера, не так легко было найти историческую аналогию. В цивилизованных странах, прошедших через длительную школу представительной системы, к власти поднялись таинственные незнакомцы, которые в юности занимались почти столь же скромной работой, как Давид или Исаия. За ними не числилось никаких воинских подвигов. Они не возвестили миру никакой новой идеи. За их спиной не стояла тень великого предка в треуголке. Римская волчица не была прабабушкой Муссолини. Свастика не есть фамильный герб Гитлеров, а только плагиат у египтян и индусов. Либерально-демократическая мысль стоит беспомощно перед загадкой фашизма. Но ни Муссолини, ни Гитлер не похожи на гениев. Чем же объясняется их головокружительный успех?

Мелкая буржуазия в нынешнюю эпоху вообще не может выдвинуть ни оригинальных идей, ни самостоятельных вождей. У Гитлера, как и у Муссолини, все заимствовано и подражательно. Муссолини совершал плагиат у большевиков. Гитлер подражал большевикам и Муссолини. Таким образом, вожди мелкой буржуазии, зависимые от крупного капитала, являются по самому типу своему вождями второго класса, как мелкая буржуазия, глядеть ли на нее сверху или снизу, занимает всегда второе место. Однако в рамках исторических возможностей Муссолини проявил огромную инициативу, изворотливость, цепкость, изобретательство.

Муссолини и Гитлер начали свою борьбу в условиях демократии. Они сталкивались лицом к лицу с противниками. Они спорили на равных правах. Ничего подобного не было в истории восхождения Сталина. Муссолини – это непрерывная импровизация на открытой арене. Муссолини и его сподвижники подражали большевикам, хотя и в прямо противоположном направлении.

Гитлер всегда говорит о своей гениальности. Сталин заставляет об этом говорить других. Сталин, как и Гитлер, как и Муссолини являются по своей нравственной природе *циниками*. Они видят людей с их низшей стороны. В этом их реализм. У Гитлера черты мономании и мессионизма. У Муссолини ничего, кроме циничного эгоизма. Личная обида играла большую роль в развитии Гитлера, как и Муссолини. Гитлер оказался деклассирован. Евреи равнялись социал-демократам. Гитлер хотел подняться выше на этом пути, создал себе *теорию* и ее держался.

Гитлер особенно настаивает на том, что только живое устное слово характеризует вождя. Никогда, по его словам, статья не может повлиять на массы так, как речь. Во всяком случае, не может создать постоянной живой связи между вождем и его миллионами последователей. Суждение Гитлера определяется, вероятно, в значительной мере тем, что он не умеет писать. Маркс и Энгельс приобрели миллионы последователей, не прибегая за всю свою жизнь к ораторскому искусству. Правда, им для приобретения влияния понадобились многие годы. Искусство писателя, в конце концов, выше, ибо оно позволяет соединять глубину с высокой формой. Те политические деятели, которые были только ораторами, отличались всегда поверхностностью. Оратор не создает писателей. Наоборот, великий писатель может вдохновить тысячи ораторов. Но верно то, что для непосредственной связи с массой необходима живая речь.

Новое время принесло новую политическую мораль. Но, странное дело, красный ветер возвращает нас во многих отношениях к эпохе Возрождения, или даже далеко превосходит ее по масштабу своих жестокостей и зверств. Объявляются снова политические кондотьерии. Борьба за власть принимает грандиозный характер. Уже при дворе римских императоров эпохи упадка были специалисты по ядам разного типа, яды, которые убивают на месте, убивают медленно или которые лишают рассудка, не ускоряя смерти. Агриппина, мать Нерона, пользовалась услугами Локусты, женщины весьма искусной в отравлении. Ее услуги для поддержания порядка были так велики, что ее называли инструментом Рекни, т. е. орудием власти. Евнух по имени Халотус подавал гостям отравленные ею блюда и тут же пробовал их. Доверие при римском дворе не было очень высоко, как и в нынешнем Кремле. Предусмотрительная Агриппина сумела заручиться соучастием придворного врача Ксенофона, этот врач по особому понимал свои обязанности: чтоб вызвать у императора Клавдия, мужа Агриппины и отчима Нерона, рвоту, он ввел ему в горло перышко, смоченное ядом.

«Хроники 15-го столетия, – говорит благочестивый историк пап, Пастор, – полны необыкновенных появлений и атмосферических возмущений, плохих урожаев, землетрясений и эпидемий». Как и в эпоху Возрождения, жизнь вовсе не окрашена одной краской измен и коварства, отравлений и подлогов. Что характеризовало эпоху Возрождения, это резкие контрасты «во всех областях хорошее и плохое оказывались чрезвычайно спутанными в итальянских государствах 15-го столетия». Эпоха Возрождения характеризовалась исключительным развитием индивидуализма, но число индивидов, которые могли позволять себе индивидуализм, было ограничено и часто сводилось к одному лицу.

Эпоха Возрождения – 15-е столетие, точнее сказать, вторая половина 15-го столетия и начало 16-го. Когда во всех областях жизни происходили и обнаруживались глубокие изменения, старые нормы отношений и, тем самым, нормы морали изжили себя. Новые нормы еще не установились. «Как раз во второй половине 15-го столетия внимательному наблюдателю открывается ужасающая коррупция в политических отношениях Италии... Искусство управления выродило систему клятвопреступлений и измен, согласно которой считалось наивностью и глупостью выполнение договоров; со всех сторон приходилось бояться хитрости и насилия, подозрительность и недоверие отравляли отношения между главами государств» (Пастор, «История пап»). Эту разрушительную систему усвоили себе великие сеньоры этой эпохи: Франциск и Людовик Сфорта, Лоренцо Медичи, Александр VI (Борджиа), Цезарь Борджиа и другие. В военной области этот век был временем авантюристов-полководцев, называвшихся кондотьерами. Пастор пишет: «С ужасом выступало сатанинское злорадство Ерранте, который смеялся от удовольствия, потирая свои руки, когда думал о хорошо охраняемых в его тюрьмах пленниках, которых он оставлял в томительной неизвестности относительно предстоявшей им судьбы». Это было в Риме, когда кардиналы писали порнографические комедии, а папы ставили их при своем дворе. «Бесстыд-

ным являлся также способ, в каком государство пользовалось убийством, которое было особенно в Венеции излюбленным методом избавления от врагов, как внешних, так и внутренних. Решение насчет убийств обсуждались и постановлялись в заседаниях правительственных советов». Фонтано писал: «В Италии ничто не имеет меньшей цены, чем человеческая жизнь».

«Из этих условий вырастали зловещие фигуры, которые соединяли с самой изысканной культурой преступную дерзость, злобную хитрость и презрение ко всем моральным законам. Люди, типом которых является Николай Макиавелли» (Пастор). Официальная средневековая мораль покорности и смирения сменилась честолюбием и славолубием. «Неограниченный индивидуализм, которому столь сильно благоприятствовало ложное Возрождение, породил кроме славолубия много других губительных пороков, именно: расточительность, роскошь, игру (азарт), жажду мести, ложь и подлог, безнравственность, преступление и человекоубийства, религиозные безразличия, неверие и суеверие» (Пастор). К числу этих отталкивающих характеров Пастор относит Сигизмунда Малатеста и, до известной степени, Цезаря Борджиа. «Ужасная безнравственность семьи Борджиа ни в каком случае не была изолированным явлением; почти все дворяне Италии жили подобным же образом... Домашние жестокости, казалось, не имели конца... Законные и незаконные принцы бежали, покидали двор, но и в других странах они находились под угрозой специально подосланных убийц».

Цезарь Борджиа: авантюрист, полководец, государственный человек, кардинал-расстрига, сын римского папы. В борьбе с другими авантюристами-кондотьерами Цезарь Борджиа выходил в большинстве случаев победителем. «Но, – говорит Британская энциклопедия, – он не был несомненно гениальным человеком, как в течение многого времени воображали, и его успехи были обязаны, главным образом, поддержке папского престола; как только его отец умер, его карьера пришла к концу и он не мог больше играть видной роли в делах Италии. Его падение показывает, на каком нездоровом фундаменте была воздвигнута его система».

Многое из того, что приписывали Цезарю Борджиа и его сестре Лукреции, несомненно или почти несомненно ложно. Имена их до известной степени стали собирательными. Но, разумеется, народная молва, как и догадки хронистов и историков, не случайно приписывали преступления именно этим людям. Когда незримая Лукреция Борджиа отравляет за ужином своих врагов и появляется к моменту их смерти, она говорит у Гюго: «Вы не ожидали этого, черт возьми, мне кажется, что я отомщаю, что вы скажете на это, господа? Кто из вас понимает людей мести? Ведь это не плохо, я думаю! А, что вы думаете об этом для женщины!»

Цезарь Борджиа, несмотря на то, что имя его сделалось синонимом вероломства и кровавой жестокости, не может считаться чудовищным исключением в среде феодальных властителей XV столетия не только одной Италии, но и Европы вообще. «Каждый понимает, – говорит Макиавелли, давший идеальный портрет Цезаря Борджиа в своем знаменитом произведении „О государстве“, – сколь похвально для государства сохранять верность, действовать правдиво, без коварства, но опыт нашего времени убеждает нас, что только тем государям удастся совершать великие дела, которые не хранят своего слова, которые умеют обмануть других и победить доверившихся их „честности“. Но никто не обнаружил такую неумолимую последовательность и стойкость в достижении своих целей, такое полное отсутствие совести и безразличие к злодеяниям вместе с демонским сознанием своего превосходства и призвания властвовать, как Цезарь Борджиа».

Сопоставление с Борджиа и другими фигурами Возрождения надо все-таки ограничить. Борджиа, Борза, Медичи были яркими личностями, в которых сочетались противоречия: честолюбие и беззаботность, легкомыслие и беспощадность, свирепость и великодушные. На всем Ренессансе лежат редкие черты. Это был период пробуждения новой

индивидуальности в слое молодой буржуазной интеллигенции и бюрократии. С того времени много воды утекло. Буржуазное общество постарело. Оно прошло через период массовых организаций, связанных внутренней дисциплиной.

Чтоб быть похожим на сверхчеловека эпохи Возрождения, Сталину не хватает красок, личности, размаха, соображения, капризного великодушия. В ранней молодости, после того как он оказался вынужден покинуть семинарию за неуспешность, он одно время служил в тифлисской обсерватории бухгалтером. Хорошо ли он вел приходно-расходные книги обсерватории, осталось неизвестным. Но бухгалтерский расчет он внес в политику и в свои отношения к людям. Его честолюбие, как и его ненависть, подчинены строгому расчету. Люди Возрождения были дерзки, Сталин – осторожен. Он долго носит свою ненависть, пока она не превращается в отстой. Его месть имеет гигантский размах потому, что он стоит не на земле, а наверху самого грандиозного из всех аппаратов. Аппаратом же Сталин овладел, так как был неизменно верен ему. Он изменял партии, государству, программе, но не бюрократии.

Николай Макиавелли – самый гениальный представитель ложного Возрождения, по словам Пастора. «Опыт показывает, – писал Макиавелли, – что великие дела совершают те, которые умеют подчинять себе людей посредством хитрости или насилия... Когда дело идет о спасении отечества, нельзя обращать внимания ни на какие трудности и на то, справедливо ли это или несправедливо, гуманно или жестоко, похвально, заслуживает порицания, но, оставляя в стороне все другие критерии, надо прибегать исключительно к тому средству, которое может спасти жизнь и сохранить свободу отечества». Именно в переходные эпохи, когда надо ломать старое и строить новое, государственная власть обнаруживает всю свою силу. Взгляд на государство, как на массивного третейского судью, который вмешивается, когда его об этом просят, кажется в такие эпохи смешным и ничтожным. Государство достигает высшей степени напряжения и становится ироническим, разрушает и строит. Именно этот взгляд на государство был у Макиавелли.

Законы политической механики, которые формулировал Макиавелли, в течение долгого времени считались выражением предельного цинизма. Макиавелли рассматривает задачи борьбы за власть как шахматную теорему. Вопросы морали не существуют для него, как они не существуют для шахматиста, как они не существуют для бухгалтера, задача которого состоит в том, чтобы сделать наиболее целесообразное в данном положении.

Италия 15-го столетия была передовой страной капитализма. Мелкие итальянские государства в то время были детскими башмаками молодого капитализма. Государства терлись друг о друга, как камни в тесном мешке. Принцы, герцоги и короли постоянно боролись, интриговали и меняли границы своих государств. Нынешняя Европа, Европа капиталистического заката, во многом напоминает Италию капиталистического детства, только масштабы неизмеримо более велики.

Римские преторианцы, стоявшие над народом и, в известном смысле над государством, нуждались в императоре, как в высшем судье, так и бюрократия, ставшая над народом и Советами, нуждалась в вожде. За пожар Рима, который приписывали злой воле самого Нерона, отвечали христиане, которые вообще были козлами отпущения за все бедствия его царствования. Роль козла отпущения, которую у Нерона играли христиане, а у Гитлера играют евреи, у Сталина выполняют так называемые троцкисты. Власть Сталина представляет собою современную форму цезаризма. Она является почти незамаскированной монархией, только без короны и пока без наследственности. В начале XVIII века грузинский царь отдался под власть Москвы, видя себя вынужденным отдаться под власть Москвы. В начале XX века маленькая Грузия навязала Москве своего собственного царя.

В течение XIX века, который был веком парламентаризма, либерализма и социальных реформ (если закрыть глаза на войны и на гражданские войны), Макиавелли считался давно позади. Честолюбие было введено в парламентские рамки и, вместе с тем, – разграб-

лено. Дело шло уже не о том, чтоб захватить власть одному лицу полностью и целиком, а о том, чтоб захватить мандаты в избирательном округе, портфель министерский. Макиавелли казался идеологом далекого прошлого. Новое время принесло новую, более высокую политическую мораль.

Но, поразительное дело, XX век возвращает нас во многих отношениях к методам эпохи Возрождения и даже далеко превосходит их по масштабу своих жестокостей и зверств. Появляются снова политические кондотьерии. Борьба за власть принимает личный характер и грандиозный масштаб. Принципы Макиавелли, которые всегда, даже в период процветания либерализма и реформ, составляли основу политической механики, получают теперь снова открытое и циничное выражение. Этот рецидив наиболее жестокого макиавеллизма кажется непонятным тому, кто до вчерашнего дня исходил из уверенности, что человеческая история движется по восходящей линии материального и культурного прогресса. Но мы можем сказать теперь: ни одна эпоха прошлого не была так жестока, беспощадна, цинична, как наша эпоха. Политическая мораль вовсе не поднялась по сравнению с эпохой Возрождения или с другими, еще более отдаленными эпохами.

Эпоха Возрождения была эпохой борьбы двух миров; социальные антагонизмы достигли крайнего напряжения. Отсюда напряжение политической борьбы, которая не допускала роскоши прикрываться или ограничивать себя моральными принципами... Во второй половине XIX века политическая мораль так высоко поднялась над материализмом, или воображением господ-политиков, только потому, что социальные антагонизмы на время смягчились, политическая борьба разменялась на мелкую монету, а основой этого был рост благосостояния и некоторые улучшения положения верхов трудящихся. Наш период, наша эпоха, похожа на эпоху Возрождения в том смысле, что мы живем на грани двух миров: буржуазного, капиталистического, который переживает агонию, и того нового мира, который идет ему на смену. Социальные противоречия снова достигли исключительной остроты. Политическая борьба сконцентрировалась и не может позволить себе роскоши прикрываться правилами морали.

Политическая власть, как и мораль, вовсе не совершенствуется непрерывно, как думали в конце прошлого и в первое десятилетие нынешнего столетия. Политика и мораль имеют в высшей степени сложную и противоречивую орбиту. Политика, как и мораль, находится в прямой зависимости от классовой борьбы; как общее правило, можно сказать, что чем острее и напряжение классовая борьба, чем глубже социальный кризис, – тем более напряженный характер получает политика, тем концентрированнее и беспощаднее становится государственная власть и тем откровеннее она сбрасывает с себя покровы морали.

Некоторые из моих друзей обращали мое внимание на то, что слишком большое место в моей работе занимают ссылки на источники и критика источников. Я отдавал и отдаю себе ясный отчет в неудобствах такого метода изложения. Но у меня не оставалось выбора. Никто не обязан верить автору, столь близко заинтересованному, столь непосредственно участвующему в борьбе с тем лицом, биографию которого он оказался вынужденным писать. Наша эпоха есть эпоха лжи, по преимуществу. Я не хочу этим сказать, что другие эпохи человечества отличались большей справедливостью. Ложь вытекает из противоречий, из борьбы, из столкновения классов, из подавления личности обществом; в этом смысле она составляла аккомпанемент всей человеческой истории. Но бывают периоды, когда социальные противоречия принимают исключительную остроту, когда ложь поднимается над средним уровнем, ложь приходит в соответствие с остротой социальных противоречий. Такова наша эпоха. *Я не думаю, что во всей человеческой истории можно найти что-нибудь, хотя бы в отдаленной степени похожее на ту гигантскую фабрику лжи, которая организована Кремлем под руководством Сталина, причем одной из главнейших работ этой фабрики является создание Сталину новой биографии.*

СЕМЬЯ И ШКОЛА

Покойный Леонид Красин, старый революционер, видный инженер, блестящий советский дипломат и, прежде всего, умный человек, первым, если не ошибаюсь, прозвал Сталина «азиатом». Он имел при этом в виду не проблематические расовые свойства, а то сочетание выдержки, проницательности, коварства и жестокости, какое считалось характерным для государственных людей Азии. Бухарин упростил впоследствии эту кличку, назвав Сталина «Чингиз-ханом», очевидно, чтоб выдвинуть на первый план жестокость, развившуюся до зверства. Однако и сам Сталин в беседе с японским журналистом назвал себя однажды «азиатом», но уже не в старо-, а в новоазиатском смысле: он хотел в этой персональной форме намекнуть на наличие у СССР общих интересов с Японией против империалистского Запада. Если отнестись к кличке «азиат» под научным углом зрения, то придется признать, что она в интересующем нас случае правильна только отчасти. По своей географии Кавказ, особенно Закавказье, является несомненным продолжением Азии. Однако грузины, в отличие от монголов-азербайджанцев, принадлежат к так называемой средиземной, европейской расе. Сталин был, следовательно, неточен, когда назвал себя азиатом. Однако география, этнография и антропология не исчерпывают вопроса: над ними возвышается история.

В долинах и горах Кавказа удержались брызги человеческого потока, переливавшегося в течение столетий из Азии в Европу. Отдельные племена и группы как бы застыли здесь в своем развитии, превратив Кавказ в гигантский этнографический музей. В течение долгих столетий судьба этих народов оставалась тесно связанной с судьбой Персии и Турции и удерживалась, таким образом, в сфере староазиатской культуры, которая умудрялась оставаться неподвижной, несмотря на постоянные встряски мятежей и войн.

В другой менее пересеченной местности маленькая грузинская ветвь человечества – около 2,5 миллионов в настоящее время – растворилась бы, вероятно, бесследно в историческом тигле. Под защитой Кавказского горного хребта грузины сохранили в сравнительно чистом виде свою этническую физиономию и свой язык, которому филология, кажется, и до сих пор затрудняется найти законное место. Письменность возникает в Грузии уже в IV столетии, одновременно с проникновением христианства, на шестьсот лет раньше, чем в Киевской Руси. X–XIII века считаются эпохой расцвета военной мощи Грузии, ее литературы и искусства. Затем следуют столетия застоя и упадка. Многократные кровавые набеги Чингиз-хана и Тамерлана на Кавказ оставили свои следы в народном эпосе Грузии. Если верить несчастному Бухарину, они оставили следы и в характере Сталина.

В начале XVIII века грузинский царь отдался под власть Москвы, ища защиты от исконных своих врагов, Турции и Персии. Прямая цель была достигнута, жизнь стала обеспеченнее. Царское правительство провело в Грузии необходимые стратегические дороги, обновило отчасти города и создало элементарную сеть школ, прежде всего, в целях русификации инородческих подданных. Однако петербургская бюрократия не могла, конечно, вытеснить в течение двух столетий староазиатское варварство европейской культурой, в которой Россия еще весьма нуждалась сама.

Несмотря на природные богатства и благословенный климат, Грузия продолжала оставаться отсталой и бедной страной. Ее полуфеодалные отношения опирались на низкую материальную базу и потому отличались чертами азиатской патриархальности, которая не исключала азиатской жестокости. Промышленность почти не существовала. Обработка почвы и строительство жилищ производились почти так же, как две тысячи лет тому назад. Вино выдавливалось ногами и хранилось в больших глиняных кувшинах. Города Кавказа, сосредоточивавшие в себе не более шестой части населения, оставались, подобно городам Азии, чиновничьими, военными, торговыми и лишь в небольшой степени ремесленными

центрами. Над основной крестьянской толщей возвышался слой дворян, в большинстве своем небогатых и малокультурных, отличавшихся от верхнего слоя крестьян подчас только пышным титулом и претензиями. Не напрасно Грузию с ее маленьким «могуществом» в прошлом, с ее экономическим застоєм в настоящем, с ее благодатным солнцем, виноградниками, беспечностью, наконец, с ее обилием провинциальных гидальго с пустыми карманами, называли Испанией Кавказа.

Молодое поколение дворян стучалось в двери университетов и, порывая с тощей сословной традицией, которую не очень брали всерьез в центральной России, примыкало к радикальным группировкам русского студенчества. За дворянскими семьями тянулись более зажиточные крестьяне и мещане, сгоравшие честолюбием сделать из своего сына либо чиновника, либо офицера, либо адвоката, либо священника. В результате Грузия обладала крайне многочисленной интеллигенцией, которая во всех прогрессивных политических движениях и в трех революциях играла заметную роль в разных частях России.

Немецкий писатель Боденштедт (Bodenstedt), служивший мимоходом в 1844 г. директором учительского института в Тифлисе пришел к выводу, что грузины не только неопрятны и беззаботны, но и менее интеллигентны, чем другие кавказцы; в школах они будто бы уступают армянам и татарам в изучении наук, усвоении иностранных языков и способности изъяснения. Цитируя этот слишком поспешный отзыв, Элизе Реклю высказал совершенно правильное предположение, что различие могло объясняться не национальными, а социальными причинами: учащиеся-грузины – выходцы отсталой деревни, армяне – дети городской буржуазии. Дальнейшее развитие, действительно, скоро стерло это различие. В 1892 году, когда Иосиф Джугашвили учился во втором классе духовного училища, грузины, составлявшие примерно восьмую часть кавказского населения, выдвигали из своей среды почти пятую часть всех учащихся (русские – свыше половины, армяне – около четырнадцати процентов, татары – менее трех...). Правда, особенности грузинского языка, одного из древнейших орудий культуры, видимо, действительно затрудняют усвоение иностранных языков, налагая тяжелый отпечаток на произношение. Но никак нельзя согласиться, будто грузины лишены дара свободной речи. При царизме они, как и другие народы Империи, были обречены на молчание. Однако по мере «европеизации» России, грузинская интеллигенция выдвинула ряд если не первоклассных, то выдающихся ораторов судебной, а затем и парламентской трибуны. Наиболее красноречивым из вождей февральской революции был, пожалуй, грузин Ираклий Церетели. Нет поэтому надобности объяснять национальным происхождением отсутствие у Сталина ораторских качеств. И по физическому типу он вряд ли представляет счастливый экземпляр своего народа, который считается самым красивым на Кавказе.

Национальный характер грузин изображается обычно как доверчивый, впечатлительный, вспыльчивый и в то же время лишенный энергии и предприимчивости. Реклю выдвигает на первый план веселость, общительность и прямоту. С этими качествами, которые действительно бросаются в глаза при личных встречах с грузинами, характер Сталина мало вяжется. Грузинские эмигранты в Париже заверяли Суварина, автора французской биографии Сталина, что мать Иосифа Джугашвили была не грузинкой, а осетинкой и что в жилах его есть примесь монгольской крови. В противоположность этому некий Иремашвили, с которым нам предстоит еще встретиться в дальнейшем, утверждает, что мать была чистокровной грузинкой, тогда как осетином был отец, «грубая, неотесанная натура, как все осетины, которые живут в высоких кавказских горах». Проверить эти утверждения трудно, если не невозможно. Вряд ли, однако, в этом есть необходимость для объяснения моральной фигуры Сталина. В странах Средиземного моря, на Балканах, в Италии, в Испании, наряду с так называемыми «южными» характерами, соединяющими ленивую беззаботность со взрывчатой вспыльчивостью, встречаются холодные натуры, в которых флегматизм соче-

тается с упорством и коварством. Первый тип господствует, второй его дополняет как исключение. Похоже на то, как если бы основные элементы характера были отпущены каждой национальной группе в соответственном количестве, но под южным солнцем оказались распределены еще менее гармонично, чем под северным. Не станем, однако, вдаваться в неблагодарную область национальной метафизики.

Уездный город Гори живописно расположен на реке Куре, в 76 километрах от Тифлиса, по закавказской железной дороге. Один из старейших городов Грузии, Гори имеет за собой драматическую историю. Его основали по преданию в XII веке армяне, искавшие убежища от турок. Городок неоднократно подвергался затем разграблению, так как армяне, и в ту пору уже главным образом – городской торговый класс, отличались большей зажиточностью и представляли лакомую добычу. Как все азиатские города, Гори рос медленно, привлекая постепенно в свои стены выходцев из грузинской и татарской деревни. К тому времени, когда сапожник Виссарион Джугашвили переселился сюда из родной деревни Диди-Лило, городок имел тысяч шесть смешанного населения, несколько церквей, много лавок и духанов для крестьянской периферии, учительскую семинарию с татарским отделением, женскую прогимназию и четырехклассное училище.

Крепостное право было уничтожено в Тифлисской губернии всего за 14 лет до рождения Иосифа, будущего генерального секретаря. Пережитки рабства пропитывали собой социальные отношения и нравы. Вряд ли родители умели читать и писать. Правда, в Закавказье выходило пять ежедневных газет на грузинском языке; но совокупный их тираж не достигал и четырех тысяч экземпляров. Крестьянство жило еще внеисторической жизнью.

Бесформенные улицы, далеко разбросанные дома, фруктовые сады придавали Гори вид большой деревни. Дома городских бедняков, во всяком случае, мало отличались от крестьянских жилищ. Джугашвили занимали старую мазанку с кирпичными углами и песчаной крышей, которая давно уже начала пропускать ветер и дождь. Бывший соученик Иосифа, Д. Гогохия, описывает обиталище семьи: «Их комната имела не более девяти квадратных аршин и находилась около кухни. Ход со двора прямо в комнату, ни одной ступеньки. Пол был выложен кирпичом, небольшое окно скупно пропускало свет. Вся обстановка комнаты состояла из маленького стола, табуретки и широкой тахты, вроде нар, покрытой „чилопи“ – соломенной цыновкой». К этому позже прибавилась старая шумная швейная машина матери.

О семье Джугашвили и о детстве Иосифа не опубликовано до сих пор никаких подлинных документов. Да и вряд ли они многочисленны. Культурный уровень среды был таков, что жизнь протекала вне письменности и почти не оставляла следов. Только после того, как самому Сталину перевалило уже за 50 лет, стали появляться воспоминания об отцовской семье. Они писались либо ожесточенными и не всегда добросовестными врагами, обычно из вторых рук, либо подневольными «друзьями», по инициативе – можно бы сказать по заказу – официальных комиссий по истории партии, и потому являются, в большей своей части, упражнением на заданную тему. Было бы, конечно, слишком просто искать правду по диагонали между этими двумя искажениями. Однако, сопоставляя их друг с другом, взвешивая умолчания одних и преувеличения других, критически оценивая внутреннюю связь самого повествования в свете дальнейших событий, можно до некоторой степени приблизиться к истине. Не гонясь за искусственно законченными картинками, мы постараемся представить читателю попутно те материальные элементы, на которые опираются наши выводы или догадки.

Наибольшей подробностью отличаются воспоминания уже упомянутого выше И. Ирешавили, вышедшие в 1932 году на немецком языке в Берлине, под заглавием «Stalin und die Tragödie Georgiens». Политическая фигура автора, бывшего меньшевика, ставшего затем

чем-то вроде национал-социалиста, сама по себе не внушает большого доверия. Тем не менее невозможно пройти мимо этого очерка. Некоторые страницы его отличаются бесспорной внутренней убедительностью. Даже сомнительные на первый взгляд эпизоды находят прямое или косвенное подтверждение в официальных воспоминаниях, опубликованных лишь несколько лет спустя. Может быть позволено будет сослаться и на то, что отдельные догадки, к которым автор этого труда пришел на основании умолчаний или уклончивых выражений советской литературы, нашли себе подтверждение в книге Иремашвили, с которой мы имели возможность познакомиться лишь в самый последний момент. Было бы ошибочно полагать, что Иремашвили, в качестве изгнанника и политического врага, стремится умалить фигуру Сталина или окрасить ее в сплошной черный цвет. Наоборот, он почти восторженно и с явным преувеличением рисует его способности; признает его готовность приносить своим идеалам личные жертвы; неоднократно подчеркивает его привязанность к матери и почти трогательными чертами изображает его первый брак. При более пристальном рассмотрении воспоминания этого бывшего учителя тифлисской гимназии порождают впечатление документа, состоящего из разных наслоений. Основу составляют, несомненно, воспоминания далекого детства. Однако эта основа подверглась неизбежной ретроспективной обработке памяти и фантазии под влиянием позднейшей судьбы Сталина и политических взглядов самого автора. К этому надо прибавить наличность в воспоминаниях сомнительных, хотя, по существу, безразличных деталей, которые можно отнести за счет столь частого у известной категории мемуаристов стремления придать своим очеркам «художественную» законченность и полноту. С этими предупреждениями мы считаем вполне возможным опереться в дальнейшем на воспоминания Иремашвили.

Более ранние биографические справки неизменно говорили о Сталине, как сыне крестьянина из деревни Диди-Лило. Сам Сталин в 1926 году впервые назвал себя сыном рабочего. Примирить это противоречие нетрудно: как и большинство рабочих России, Джугашвили-отец по паспорту продолжал числиться крестьянином. Но этим затруднения не исчерпываются. Отец называется неизменно «рабочим обувной фабрики Алиханова в Тифлисе». Однако семья жила в Гори, а не в столице Кавказа. Значит ли это, что отец жил врозь от семьи? Такое предположение было бы законно, если бы семья оставалась в деревне. Но совершенно невероятно, чтобы кормилец семьи и сама семья жили в разных городах. К тому же Гогохия, товарищ Иосифа по духовному училищу, живший в одном с ним дворе, как и Иремашвили, часто навещавший его, прямо говорит, что Виссарион работал тут же, на Соборной улице, в мазанке с протекавшей крышей. Естественно поэтому предположить, что отец лишь временно работал в Тифлисе, может быть, еще в тот период, когда семья оставалась в деревне. В Гори же Виссарион Джугашвили работал уже не на обувной фабрике — в уездном городе фабрик не было, — а как самостоятельный мелкий кустарь. Умышленная неясность в этом пункте продиктована несомненно стремлением не ослаблять впечатление от «пролетарской» родословной Сталина.

Как большинство грузинок, Екатерина Джугашвили стала матерью в совсем еще юном возрасте. Первые трое детей умерли во младенчестве. 21-го декабря 1879 года родился четвертый ребенок, матери едва исполнилось двадцать лет. Иосифу шел седьмой год, когда он заболел оспой. Следы ее остались на всю жизнь свидетельством подлинно плебейского происхождения и культурной отсталости среды. К рябинкам на лице Суварин, французский биограф Сталина, прибавляет еще худосочие левой руки, которое вместе с двумя сросшимися пальцами ноги должно, по его сведениям, служить доказательством алкогольной наследственности с отцовской стороны. Вообще говоря, сапожники, по крайней мере в центральной России, настолько славились пьянством, что вошли в пословицу. Трудно, однако, судить, насколько верны соображения о наследственности, сообщенные Суварину «разными лицами», вернее всего — меньшевиками-эмигрантами. В составлявшихся жандармами переч-

нях «примет» Иосифа Джугашвили нет совсем указания на сухорукость; сросшиеся пальцы ноги были отмечены однажды полковником Шабельским в 1902 году. Возможно, что жандармские документы, как и все другие, подверглись до печатания цензурной чистке, не вполне тщательной. Нельзя не отметить, с другой стороны, что в позднейшие годы Сталин время от времени носил на левой руке теплую перчатку даже на заседаниях Политбюро. Причину этого видели обычно в ревматизме. Но в конце концов эти второстепенные физические признаки, действительные или мнимые, вряд ли представляют сами по себе большой интерес. Гораздо важнее попытаться восстановить действительные образы родителей и атмосферу семьи.

Прежде всего бросается в глаза тот факт, что официально собранные воспоминания обходят почти полным молчанием фигуру Виссариона, сочувственно останавливаясь в то же время на трудовой и тяжелой жизни Екатерины. «Мать Иосифа имела скудный заработок, – рассказывает Гогохия, – занимаясь стиркой белья и выпечкой хлеба в домах богатых жителей Гори. За комнату надо было платить полтора рубля». Мы узнаем таким образом, что забота об уплате за квартиру лежала на матери, а не на отце. И дальше: «Тяжелая трудовая жизнь матери, бедность сказывались на характере Иосифа», – как если бы отец не принадлежал к семье. Только позже автор вставляет мимоходом фразу: «Отец Иосифа – Виссарион – проводил весь день в работе, шил и чинил обувь». Однако работа отца не приводится ни в какую связь с жизнью семьи и ее материальным уровнем. Получается впечатление, будто об отце упомянуто лишь для заполнения пробела. Глурджидзе, другой товарищ по духовному училищу, уже полностью игнорирует отца, когда пишет, что заботливая мать Иосифа «зарабатывала на жизнь кройкой, шитьем и стиркой белья». Эти не случайные умолчания заслуживают тем большего внимания, что нравы народа далеко не отводили женщине руководящего места в семье. Наоборот, по старым грузинским традициям, очень вообще упорным в консервативной среде горцев, женщина оставалась на положении домашней полурабыни, почти не допускалась в среду мужчин, не имела права голоса в семейных делах, не смела наказывать сына. Даже в церкви жены и сестры располагались позади отцов, мужей и братьев. То обстоятельство, что авторы воспоминаний заслоняют фигуру отца фигурой матери, не может быть истолковано иначе, как стремлением уклониться от характеристики Виссариона Джугашвили. Старая русская энциклопедия, отмечая крайнюю воздержанность грузин в пище, прибавляет: «Едва ли какой-либо другой народ в мире пьет столько вина, сколько его выпивают грузины». Правда, с переселением в Гори Виссарион вряд ли сохранил собственный виноградник. Зато в городе духаны были под рукой, и с виноградным вином успешно конкурировала водка.

В этой связи особую убедительность приобретают показания Иремашвили. Как и другие авторы воспоминаний, но раньше их на пять лет, он с теплой симпатией характеризует Екатерину, которая с большой любовью относилась к единственному сыну и с приветливостью – к его товарищам по играм в школе. Прирожденная грузинка, Кеке, как ее обычно прозывали, была глубоко религиозна. Ее трудовая жизнь была непрерывным служением: богу, мужу, сыну. Зрение ее ослабело из-за постоянного шитья в полутемном помещении, и она рано начала носить очки. Впрочем, кавказская женщина за тридцать лет считалась уже почти старухой. Соседи относились к ней с тем большей симпатией, что жизнь ее сложилась крайне тяжело. Глава семьи, Безо (Виссарион), был, по словам Иремашвили, сурового нрава и притом жестокий пьяница. Большую часть своего скудного заработка он пропивал. Вот почему заботы о квартирной плате и вообще о содержании семьи ложились двойной ношей на мать. С бессильной скорбью наблюдала Кеке, как Безо своим отношением к ребенку «изгонял из его сердца любовь к богу и людям и сеял отвращение к собственному отцу». «Незаслуженные, страшные побои сделали мальчика столь же суровым и бессердечным, как был его отец». Иосиф стал с ожесточением размышлять над проклятыми загадками жизни.

Ранняя смерть отца не причинила ему горя; он только почувствовал себя свободнее. Иремашвили делает тот вывод, что свою затаенную вражду к отцу и жажду мести мальчик с ранних лет начал переносить на всех тех, кто имел или мог иметь какую-либо власть над ним. «С юности осуществление мстительных замыслов стало для него целью, которой подчинялись все его усилия». Даже с неизбежным элементом ретроспективной оценки, эти слова сохраняют всю свою значительность.

В 1930 году, когда ей был уже 71 год, Екатерина, жившая в то время в Тифлисе, в бывшем дворце наместника, в скромной квартире одного из служащих, отвечала через переводчика на вопросы журналистов: «Сосо (Иосиф) всегда был хорошим мальчиком... Мне никогда не приходилось наказывать его. Он усердно учился, всегда читал или беседовал, пытаюсь понять всякую вещь... Сосо был моим единственным сыном. Конечно, я дорожила им... Его отец Виссарион хотел сделать из Сосо хорошего сапожника. Но его отец умер, когда Сосо было одиннадцать лет... Я не хотела, чтоб он был сапожником. Я хотела одного, чтоб он стал священником». Суварин собрал, правда, совсем другие сведения среди грузин в Париже: «Они знали Сосо уже жестким, нечувствительным, относившимся без уважения к матери и приводят в подтверждение своих воспоминаний достаточно щекотливые факты». Сам биограф отмечает, однако, что источником этих сведений являются политические враги Сталина. В этой среде тоже ходит, конечно, немало легенд, только с обратным знаком. Наоборот, Иремашвили с большой настойчивостью говорит о горячей привязанности, которую Сосо питал к матери. Да и не могло быть у мальчика других чувств к кормилице семьи и защитнице от отца.

Немецкий писатель Эмиль Людвиг, придворный портретист нашей эпохи, нашел случай применить и в Кремле свой метод наводящих вопросов, в которых умеренная психологическая проницательность сочетается с политической осторожностью. Любите ли вы природу, сеньор Муссолини? Как вы относитесь к Шопенгауэру, господин Масарик? Верите ли вы в лучшее будущее, мистер Рузвельт? Во время подобной словесной пытки Сталин, в состоянии замешательства перед прославленным иностранцем, усердно рисовал цветочки и кораблики цветным карандашом. Так, по крайней мере, рассказывает Людвиг. На сухой руке Вильгельма Гогенцоллерна этот писатель построил психо-аналитическую биографию бывшего кайзера, к которой старик Фрейд отнесся, правда, с ироническим недоумением. У Сталина Людвиг не заметил сухой руки и сросшихся пальцев на ноге. Зато он сделал попытку вывести революционную карьеру кремлевского хозяина из тех побоев, которые в детстве наносил ему отец. После ознакомления с мемуарами Иремашвили нетрудно понять, откуда почерпнул Людвиг свою догадку. «Что сделало вас мятежником? Может быть, это произошло потому, что ваши родители плохо обращались с вами?» Сталин ответил на этот вопрос отрицательно: «Нет! Мои родители были простые люди, но они совсем не плохо обращались со мной». Придавать этим словам документальную ценность было бы, однако, опрометчиво. Не только потому, что утверждения и отрицания Сталина, как мы будем иметь еще много случаев убедиться, вообще легко меняются местами. В аналогичном положении всякий другой поступил бы, вероятно, так же. Вряд ли, во всяком случае, можно упрекать Сталина за то, что он отказался публично жаловаться на своего давно умершего отца. Скорее приходится удивляться почтительной неделикатности писателя.

Семейные испытания не были, однако, единственным фактором, формировавшим жесткую, своевольную и мстительную личность мальчика. Более широкие влияния среды действовали в том же направлении. Один из биографов Сталина рассказывает, как к убогому дому сапожника подъезжал иногда на горячем коне светлейший князь Амилахвари для починки только что порвавшихся на охоте дорогих сапог и как сын сапожника, с обильной шевелюрой над низким лбом, пронизывал ненавидящими глазами пышного князя, сжимая детские кулачки. Сама по себе эта живописная сценка относится, надо думать, к области

фантазии. Однако контраст между окружающей бедностью и относительной пышностью последних грузинских феодалов не мог не войти в сознание мальчика остро и навсегда.

В самом городском населении дело обстояло не многим лучше. Высоко поднимаясь над низами, уездное начальство правил городом именем царя и его кавказского наместника, князя Голицына, зловещего сатрапа, который пользовался всеобщей и заслуженной ненавистью. С уездными властями связаны были помещики и купцы-армяне. Но и основная плебейская масса населения, несмотря на общий низкий уровень ее, отчасти вследствие низкого уровня, разделялась кастовыми перегородками. Всякий, кто чуть поднимался над другими, зорко охранял свой ранг. Недоверие диди-лильского крестьянина к городу должно было превратиться в Гори во враждебное отношение убогого ремесленника к тем более зажиточным семьям, где Кеке приходилось шить и стирать. Не менее грубо давала себя знать социальная градация и в школе, где дети священников, мелких дворян и чиновников не раз обнаруживали перед Иосифом, что он им не чета. Как видно из рассказа Гогохия, сын сапожника рано и остро почувствовал унижительность социального неравенства: «Он не любил ходить к людям, живущим зажиточно. Несмотря на то, что я бывал у него по несколько раз в день, он подымался ко мне очень редко, потому что дядя мой жил, по тем временам, богато». Таковы первые источники пока еще инстинктивного социального протеста, который в атмосфере политического брожения страны должен был позже превратить семинариста в революционера.

Низший слой мелкой буржуазии знает две высоких карьеры для единственных или одаренных сыновей: чиновника и священника. Мать Гитлера мечтала о карьере пастора для сына. С той же мыслью носилась, лет на десять раньше, в еще более скромной среде, Екатерина Джугашвили. Самая эта мечта: увидеть сына в рясе показывает, кстати, насколько мало была проникнута семья сапожника Безо «пролетарским духом». Лучшее будущее мыслилось не как результат борьбы класса, а как результат разрыва с классом.

Православное духовенство, несмотря на свой достаточно низкий социальный ранг и культурный уровень, принадлежало к числу привилегированных сословий, так как было свободно от воинской повинности, личных податей и... розги. Только отмена крепостного права открыла крестьянам доступ в ряды духовенства, обусловив, однако, эту привилегию полицейским ограничением: для назначения на церковную должность сыну крестьянина требовалось особое разрешение губернатора.

Будущие священники воспитывались в нескольких десятках семинарий, подготовительной ступенью к которым служили духовные училища. По своему месту в государственной системе образования семинарии приравнялись к средним учебным заведениям, с той разницей, что светские науки призваны были служить в них лишь скромной опорой богословию. В старой России знаменитые бursы славились ужасающей дикостью нравов, средневековой педагогикой и кулачным правом, не говоря уже о грязи, холоде и голоде. Все пороки, осуждаемые священным писанием, процветали в этих рассадниках благочестия. Писатель Помяловский навсегда вошел в русскую литературу как правдивый и жестокий автор «Очерков бursы» (1862 г.). Нельзя не привести здесь слов, которые биограф говорит о самом Помяловском: «Этот период ученической жизни выработал в нем недоверчивость, скрытность, озлобление и ненависть к окружающей среде». Реформы царствования Александра Второго внесли, правда, известные улучшения даже в наиболее затхлую область церковного образования. Тем не менее и в конце прошлого века духовные училища, особенно в далеком Закавказье, оставались наиболее мрачными пятнами на «культурной» карте России.

Царское правительство давно и не без крови сломило независимость грузинской церкви, подчинив ее петербургскому Синоду. Однако в низах грузинского духовенства сохранялась вражда к русификаторам. Порабощение церкви потрясло традиционную рели-

гиозность грузин и подготовило почву для влияния социал-демократии не только в городе, но и в деревне. Тем более спертая атмосфера царила в духовных школах, которые должны были не только русифицировать своих воспитанников, но и подготовить их к роли церковной полиции душ. Отношения между учителями и учениками были проникнуты острым духом враждебности. Занятия велись на русском языке, грузинский преподавался всего два раза в неделю и нередко третировался как язык низшей расы.

В 1890 году, очевидно вскоре после смерти отца, одиннадцатилетний Сосо вступил в духовное училище с ситцевой сумкой под мышкой. По словам товарищей, мальчик проявлял большое рвение в изучении катехизиса и молитв. Гогохия отмечает, что благодаря своей исключительной памяти, Сосо запоминал уроки со слов учителя и не нуждался в повторении. На самом деле память Сталина, по крайней мере теоретически, весьма посредственна. Но все равно: чтоб запоминать в классе, нужно было отличаться исключительным вниманием. В тот период священнический сан был, очевидно, венцом честолюбия для самого Сосо. Воля подстегивала способности и память. Другой товарищ по школе, Капанадзе, свидетельствует, что за 13 лет ученичества и за дальнейшие 35 лет учительской деятельности ему ни разу «не приходилось встречать такого одаренного и способного ученика», как Иосиф Джугашвили. Воспоминания Капанадзе вообще страдают избытком усердия. Но и Иремашвили, писавший свою книжку не в Тифлисе, а в Берлине, утверждает, что Сосо был лучшим учеником в духовном училище. В других показаниях есть, однако, существенные оттенки. «В первые годы, в приготовительных отделениях, — рассказывает Глурджидзе, — Иосиф учился отлично, и дальше все ярче раскрывались его способности, — он стал одним из первых учеников». В статье, которая имеет характер заказанного сверху панегирика, осторожная формула: «один из первых» слишком ясно показывает, что Иосиф не был первым, не выделялся из класса, не был учеником из ряда вон. Такой же характер носят воспоминания другого школьного товарища, Елисабедашвили: «Иосиф, — говорит он, — был одним из самых бедных и самых способных». Значит, не самый способный. Остается предположить, что в разных классах дело обстояло неодинаково или что некоторые авторы воспоминаний, принадлежа к арьергарду науки, плохо различали первых учеников.

Не уточняя того места, какое занимал в классе Иосиф, Гогохия утверждает, что по своему развитию и занятиям он стоял «намного выше своих школьных товарищей». Сосо перечитал все, что было в школьной библиотеке — произведения грузинских и русских классиков, разумеется, тщательно просеянные начальством. На выпускных экзаменах Иосиф был награжден похвальным листом, «что для того времени являлось событием из ряда вон выходящим, потому что отец его был не духовного звания и занимался сапожным ремеслом». Поистине замечательный штрих!

В общем, написанные в Тифлисе воспоминания о «юных годах вождя» малосодержательны. «Сосо втягивал нас в хор и своим звонким, приятным голосом запевал любимые народные песни». При игре в мяч «Иосиф умел подбирать лучших игроков, и наша группа поэтому всегда выигрывала». «Иосиф научился отлично рисовать». Ни одно из этих качеств, видимо, не получило в дальнейшем развития: Иосиф не стал ни певцом, ни спортсменом, ни рисовальщиком. Еще менее убедительно звучат такие отзывы: «Иосиф Джугашвили отличался большой скромностью и был хорошим, чутким товарищем». «Он никогда не давал чувствовать свое превосходство» и так далее. Если все это верно, то пришлось бы заключить, что с годами Иосиф превратился в свою противоположность.

Воспоминания Иремашвили несравненно живее и ближе к правде. Он рисует своего тезку долговязым, жилистым, веснушчатым мальчиком, исключительно по настойчивости, замкнутости и властолюбию умевшим добиваться поставленной цели, шло ли дело о командовании над товарищами, о метании камней или о карабкании по скалам. Сосо отличался горячей любовью к природе, но не чувствовал привязанности к ее живым существам.

Сострадание к людям или животным было ему чуждо: «Я никогда не видел его плачущим». «Для радостей или горестей товарищей Сосо знал только саркастическую усмешку». Все это, может быть, слегка отшлифовалось в памяти, как камень в потоке, но это не выдуманно.

Иремашвили впадает, однако, в несомненную ошибку, когда приписывает Иосифу мятежное поведение уже в горийской школе. В качестве вожака ученических протестов, в частности, кошачьего концерта против «ненавистного инспектора Бутырского», Сосо подвергался будто бы чуть не ежедневным наказаниям. Между тем, авторы официальных воспоминаний на этот раз явно без предвзятой цели рисуют Иосифа за эти годы примерным учеником также и по поведению. «Обычно он был серьезен, настойчив, – пишет Гогохия, – не любил шалостей и озорства. После занятий спешил домой, и всегда его видели за книгой». По словам Гогохия, Иосиф получал от школы ежемесячную стипендию, что было бы совершенно невозможно при недостатке с его стороны почтительности по отношению к наставникам и, прежде всего, к «ненавистному инспектору Бутырскому». Начало неблагонадежных настроений Иосифа все другие авторы относят ко времени тифлисской семинарии. Но и в этом случае никто ничего не говорит об его участии в бурных протестах. Объяснение сдвигов памяти Иремашвили, как и некоторых других, в отношении места и срока отдельных происшествий кроется, очевидно, в том, что тифлисская семинария явилась для всех участников прямым продолжением духовного училища. Труднее объяснить тот факт, что о кошачьем концерте под руководством Иосифа не упоминает никто, кроме Иремашвили. Простая аберрация памяти? Или же Иосиф играл в некоторых «концертах» закулисную роль, о которой знали лишь единицы? Это отнюдь не противоречило бы характеру будущего конспиратора.

Неясным остается момент разрыва Иосифа с верованиями отцов. По словам того же Иремашвили, Сосо вместе с двумя другими школьниками охотно пел в деревенской церкви во время летних каникул, хотя религия являлась для него пройденным этапом уже и тогда, в старших классах школы. Глурджидзе вспоминает, в свою очередь, как тринадцатилетний Иосиф сказал ему однажды: «Знаешь, нас обманывают, бога не существует...» В ответ на изумленный возглас собеседника Иосиф порекомендовал ему прочесть книгу, из которой видно, что «разговоры о боге – пустая болтовня». «Какая это книга?» «Дарвин. Обязательно прочти». Ссылка на Дарвина придает эпизоду малоправдоподобный оттенок. Вряд ли тринадцатилетний мальчик мог в захолустном городке прочитать Дарвина и сделать из него атеистические выводы. По собственным словам Сталина, он встал на путь революционных идей в пятнадцать лет, следовательно, уже в Тифлисе. Правда, с религией он мог порвать раньше. Но возможно и то, что Глурджидзе, также сменивший духовное училище на семинарию, слишком приближает сроки. Отказаться от бога, именем которого совершались издевательства над школьниками, было, вероятно, совсем не трудно. Во всяком случае, необходимое для этого внутреннее усилие щедро вознаграждалось тем результатом, что у наставников и вообще у властей сразу вырывалась нравственная почва под ногами. Отныне они могли творить насилия только потому, что были сильнее. Отсюда выразительная формула Сосо: «нас обманывают», очень ярко освещающая его внутренний мир, независимо от того, где и когда происходила беседа: в Гори или, годом-двумя позже, в Тифлисе.

Для определения времени вступления Иосифа в семинарию мы в разных официальных изданиях имеем на выбор три даты: 1892, 1893 и 1894. Сколько времени оставался он в семинарии? Шесть лет, отвечает «Календарь коммуниста». Пять, говорит биографический очерк, написанный секретарем Сталина. Четыре года, утверждает его бывший школьный товарищ Гогохия. На мемориальной доске, укрепленной на здании бывшей семинарии, сказано, как можно различить на фотоснимке, что «великий Сталин» учился в этих стенах с 1-го сентября 1894 года по 29-е июля 1899 года, следовательно, пять лет. Может быть, официальные биографы избегают этой последней даты потому, что она рисует семинариста Джугашвили

слишком великовозрастным? Во всяком случае, мы предпочитаем держаться мемориальной доски, ибо даты ее основаны, по всей вероятности, на документах самой семинарии.

С похвальным листом горийского училища в своей сумке, пятнадцатилетний Иосиф впервые очутился осенью 1894 года в большом городе, который не мог не поразить его воображение: это был Тифлис, бывшая столица грузинских царей. Не будет преувеличением сказать, что полуазиатский, полугерманский город наложил свою печать на молодого Иосифа на всю жизнь. В течение своей почти 1500-летней истории Тифлис многократно попадал во власть врагов, 15 раз разрушался, иногда до основания. Вторгавшиеся сюда арабы, турки и персы оказали на архитектуру и нравы города глубокое влияние, следы которого сохранились и по сей день. Европейские кварталы выросли после присоединения Грузии к России, когда бывшая столица стала губернским городом и административным центром Кавказского края. Ко времени вступления Иосифа в семинарию Тифлис насчитывал свыше 150000 жителей. Русские, составлявшие четверть этого числа, состояли, с одной стороны, из ссыльных сектантов, довольно многочисленных в Закавказье, с другой – из чиновников и военных. Армяне представляли с давних времен наиболее многочисленное (38 %) и зажиточное ядро населения, сосредоточивая в своих руках торговлю и промышленность. Связанные с деревней грузины заполняли низший слой ремесленников и торговцев, мелких чиновников и офицеров, составляя, как и русские, примерно четвертую часть населения. «Рядом с улицами, имеющими современный европейский характер... – гласит описание 1901 года, – ютится лабиринт узких, кривых и грязных, чисто азиатских закоулков, площадок и базаров, окаймленных открытыми восточного типа лавочками, мастерскими, кофейнями, цирюльнями и переполненных шумной толпой носильщиков, водовозов, разносчиков, всадников, вереницами вьючных мулов и ослов, караванами верблюдов и т. д.». Отсутствие канализации, недостаток в воде при жарком лете, страшная въедчивая уличная пыль, керосиновое освещение в центре, отсутствие освещения на окраинах – так выглядел административный и культурный центр Кавказа на рубеже двух столетий.

«Нас ввели в четырехэтажный дом, – рассказывает Гогохия, прибывший сюда вместе с Иосифом, – в огромные комнаты общежития, в которых размещалось по двадцать-тридцать человек. Это здание и было тифлисской духовной семинарией». Благодаря успешному окончанию духовного училища в Гори, Иосиф Джугашвили был принят в семинарию на всем готовом, включая одежду, обувь и учебники, что было бы совершенно невозможно, повторим, если бы он успел проявить себя как бунтовщик. Кто знает, может быть, власти надеялись, что он станет еще украшением грузинской церкви? Как и в подготовительной школе, преподавание велось на русском языке. Большинство преподавателей состояло из русских по национальности и русификаторов по должности. Грузины допускались в учителя только в том случае, если проявляли двойное усердие. Ректором состоял русский, монах Гермоген, инспектором – грузин, монах Абашидзе, самая грозная и ненавистная фигура в семинарии. «Жизнь в школе была печальна и монотонна, – рассказывает Иремашвили, который и о семинарии дал сведения раньше и полнее других, – закрытые день и ночь в казарменных стенах, мы чувствовали себя как арестанты, которые должны без вины провести здесь годы. Настроение было подавленное и замкнутое. Молодая веселость, заглушенная отрезавшими нас от мира помещениями и коридорами, почти не проявлялась. Если, время от времени, юношеский темперамент прорывался наружу, то он тут же подавлялся монахами и наблюдателями. Царский надзор над школами воспрещал нам чтение грузинской литературы и газет... Они боялись нашего воодушевления идеями свободы и независимости нашей родины и заражения наших молодых душ новыми учениями социализма. А то, что светская власть еще разрешала по части литературных произведений, запрещала нам, как будущим священникам, церковная власть. Произведения Толстого, Достоевского, Тургенева и многих других оставались нам недоступны».

Дни в семинарии проходили, как в тюрьме или в казарме. Школьная жизнь начиналась с семи часов утра. Молитва, чаепитие, классы. Снова молитва. Занятия с перерывами до двух часов дня. Молитва. Обед. Плохая и необильная пища. Покидать стены семинарской тюрьмы разрешалось только между тремя и пятью часами. Затем ворота запирались. Переключка. В восемь часов чай. Подготовка уроков. В десять часов – после новой молитвы – все расходилось по койкам. «Мы чувствовали себя как бы в каменном мешке», – подтверждает Гогохия.

Во время воскресных и праздничных богослужений воспитанники простаивали по три-четыре часа, всегда на той же каменной плите церковного пола, переступая с одной омертвевшей ноги на другую, под неотступно наблюдавшими их взорами монахов. «Даже и самый набожный должен был при бесконечной длительности служб разучиться молиться. Под благочестивыми минами мы прятали от дежурных монахов наши мысли».

Дух благочестия шел как всегда об руку с духом полицейщины. Инспектор Абашидзе глазами вражды и подозрения следил за пансионерами, за их образом мыслей и времяпрепровождением. Когда воспитанники возвращались из столовой в свои дортуары, они не раз находили свежие следы произведенного в их отсутствие обыска. Нередко руки монахов обшаривали и самих семинаристов. Меры взыскания выражались в грубых выговорах, темном карцере, который редко пустовал, в двойках по поведению, грозивших крушением надежд, и, наконец, в изгнании из святилища. Слабые физически покидали семинарию для кладбища. Кремнист и труден путь спасения!

В приемах семинарской педагогики было все, что иезуиты выдумали для укрощения детских душ, но в более примитивном, более грубом и потому менее действительном виде. А главное – обстановка в стране мало благоприятствовала духу смирения. Почти во всех шестидесяти семинариях России обнаруживались семинаристы, которые, чаще всего под влиянием студентов, сбрасывали рясу священника прежде, чем успевали надеть ее, проникались презрением к богословской схоластике, читали тенденциозные романы, радикальную русскую публицистику и популярные изложения Дарвина и Маркса. В тифлисской семинарии революционное брожение, питавшееся из национальных и общеполитических источников, имело за собой уже некоторую традицию. Оно прорывалось в прошлом острыми конфликтами с учителями, открытыми возмущениями, даже убийством ректора. За десять лет до вступления Сталина в семинарию Сильвестр Джигладзе ударил преподавателя за пренебрежительный отзыв о грузинском языке. Этот Джигладзе стал затем инициатором социал-демократического движения на Кавказе и одним из учителей Иосифа Джугашвили.

В 1885 году возникают в Тифлисе первые социалистические кружки, в которых выходцы из семинарии сразу занимают руководящее место. Рядом с Сильвестром Джигладзе мы встречаем здесь Ноя Жордания, будущего вождя грузинских меньшевиков, Николая Чхеидзе, будущего депутата Думы, председателя Петроградского Совета в месяцы Февральской революции 1917 года, и ряд других, которым предстояло в дальнейшем играть заметную роль в политической жизни Кавказа и даже всего государства. Марксизм проходил в России еще свою интеллигентскую стадию. Тот факт, что духовная семинария стала на Кавказе главным очагом марксистской заразы, объясняется прежде всего отсутствием в Тифлисе университета. В отсталой, непромышленной области, как Грузия, марксизм воспринимался в особенно абстрактной, чтобы не сказать схоластической, форме. Мозги семинаристов обладали известной дрессировкой, которая позволяла им, худо ли, хорошо ли, овладевать логическими построениями. В основе поворота к марксизму лежало, конечно, глубокое социальное и национальное недовольство народа, заставлявшее молодую богему искать выхода на революционном пути.

Иосифу совсем не приходилось, таким образом, прокладывать в Тифлисе новые пути, как пытаются изобразить советские плутархи. Пощечина, которую нанес Джигладзе, продолжала еще звучать в стенах семинарии. Бывшие семинаристы уже руководили в городе

левым флангом общественного мнения и не теряли связей со своей мачехой-школой. Достаточно было бы случая, личной встречи, толчка – и недовольный, ожесточенный, честолюбивый юноша, которому нужна была только формула, чтоб найти самого себя, естественно оказался в революционной колее. Первым этапом на этом пути должен был стать разрыв с религией. Если допустить, что из Гори мальчик привез еще остатки сомнений, то они сразу рассеялись в семинарии. Отныне Иосиф радикально утратил вкус к богословию.

«Его честолюбие, – пишет Иремашвили, – достигло в семинарии того, что он в своих успехах далеко опережал нас всех». Если это верно, то лишь для очень короткого периода. Глурджидзе отмечает, что из наук семинарского курса «Иосиф любил гражданскую историю и логику», другими же предметами занимался лишь настолько, чтоб сдать экзамены. Охладев к священному писанию, он стал интересоваться светской литературой, естествознанием, социальными вопросами. На помощь ему пришли ученики старших классов. «Узнав о способном и любознательном Иосифе Джугашвили, они стали беседовать с ним и снабжать его журналами и книгами», – рассказывает Гогохия. «Книга была неразлучным другом Иосифа, и он с ней не расставался даже во время еды», – свидетельствует Глурджидзе. Жадность к чтению вообще составляла отличительную черту тех годов весеннего пробуждения. После последнего контроля, когда монахи тушили лампы, молодые заговорщики вынимали припрятанные свечи и при их мерцающем пламени погружались в чтение. Иосиф, проводивший за книгами немало бессонных ночей, стал выглядеть невыспавшимся и больным. «Когда он начал кашлять, – рассказывает Иремашвили, – я не однажды отбирал у него ночью книгу и тушил свечу». Глурджидзе вспоминает, как семинаристы крадучись глотали Толстого, Достоевского, Шекспира, Шиллера, «Историю культуры» Липперта, русского радикального публициста Писарева... «Иногда мы читали в церкви во время службы, притаившись в рядах».

Наиболее сильное впечатление на Сосо производили тогда произведения национальной грузинской литературы. Иремашвили рисует первые взрывы революционного темперамента, в котором свежий еще идеализм сочетался с острым пробуждением честолюбия. «Сосо и я, – вспоминает Иремашвили, – часто беседовали о трагической судьбе Грузии. Мы были в восторге от произведений поэта Шота Руставели». Образцом для Сосо стал Коба, герой романа грузинского автора Казбеги «Нуну». В борьбе против властей угнетенные горцы терпят, вследствие измены, поражение и теряют последние остатки свободы, в то время как вождь восстания жертвует родиной и своей женой Нуну, всем, даже жизнью. Отныне Коба «стал для Сосо божеством... Он сам хотел стать вторым „Кобой“, борцом и героем, знаменитым, как этот последний». Иосиф назвал себя именем вождя горцев и не терпел, чтоб его звали иначе. "Лицо его сияло от гордости и радости, когда мы именовали его Кобой. На долгие годы Сосо сохранил это имя, которое стало также его первым псевдонимом, когда он начал заниматься литературной и пропагандистской работой для партии. Еще и теперь его всегда называют в Грузии «Коба» или «Коба-Сталин».

Об увлечении молодого Иосифа национальной проблемой Грузии официальные биографы не упоминают вовсе. Сталин появляется у них сразу как законченный марксист. Между тем, нетрудно понять, что в наивном «марксизме» того первого периода туманные идеи социализма еще мирно уживались с национальной романтикой «Кобы».

За год Иосиф, по словам Гогохия, настолько развился и вырос, что уже со второго класса стал руководить группой товарищей по семинарии. Если верить Берия, самому официальному из историков, то «Сталин в 1896–1897 гг. в Тифлисской духовной семинарии руководил двумя марксистскими кружками». Самим Сталиным никто никогда не руководил. Гораздо жизненнее рассказ Иремашвили. Десять семинаристов, в том числе Сосо Джугашвили, образовали, по его словам, тайный социалистический кружок. «Старший воспитанник, Девдарияни, избранный руководителем, отнесся к своей задаче очень серьезно».

Он выработал, вернее получил от своих руководителей за стенами семинарии, программу, следуя которой члены кружка должны были в шесть лет воспитать из себя законченных социал-демократических вождей. Программа начиналась с космогонии и заканчивалась коммунистическим обществом. На тайных собраниях кружка читались рефераты, сопровождавшиеся горячим обменом мнений. Дело не ограничивалось, по уверению Гогохия, устной пропагандой. Иосиф «создал и редактировал» на грузинском языке рукописный журнал, который выходил два раза в месяц и передавался из рук в руки. Недремлющий инспектор Абашидзе обнаружил однажды у Иосифа «тетрадь со статьей для нашего рукописного журнала». Подобные издания, независимо от содержания, строго воспрещались не только в духовных, но и в светских учебных заведениях. Так как результатом находки Абашидзе явилось только «предупреждение» и плохая отметка по поведению, то можно сделать вывод, что журнал был все же достаточно невинного характера. Отметим, что столь обстоятельный Иремашвили вообще ничего не говорит о журнале.

Еще острее, чем в подготовительном училище, должен был Иосиф ощущать в семинарии свою бедность. "...Денег у него не было, — упоминает вскользь Гогохия, — мы же получали от родителей посылки и деньги на мелкие расходы". За те два часа, которые дозволялось провести вне стен школы, Иосиф не мог позволить себе ничего из того, что было доступно сыновьям более привилегированных семей. Тем необузданнее были его мечты и планы на будущее, тем резче сказывались основные инстинкты его натуры в отношении к товарищам по школе.

«Как мальчик и юноша, — свидетельствует Иремашвили, — он был хорошим другом для тех, кто подчинялся его властной воле». Но только для тех. Деспотичность проявлялась с тем большей свободой в кругу товарищей, чем больше приходилось сдерживать себя пред лицом наставников. Тайный кружок, отгороженный от всего мира, стал естественной ареной, на которой Иосиф испытывал свою силу и выносливость других. «Он ощущал это, как нечто противоестественное, — пишет Иремашвили, — что другой соученик был вождем и организатором группы... тогда как он читал большую часть рефератов». Кто осмеливался возражать ему или хотя бы пытался объяснить ему что-либо, тот неминуемо накликнул на себя его «беспощадную вражду». Иосиф умел преследовать и мстить. Он умел ударить по больному месту. При таких условиях первоначальная солидарность кружка не могла держаться долго. В борьбе за свое господство Коба, «со своим высокомерием и ядовитым цинизмом, внес личную склоку в общество друзей». Эти жалобы на «ядовитый цинизм», на грубость и мстительность мы услышим затем на жизненном пути Кобы много-много раз.

В довольно фантастической биографии, написанной Эссад-Беем, рассказывается, будто до семинарии молодой Иосиф вел бродячую жизнь в Тифлисе в обществе «кинто», героев улицы, говорунгов, певцов и хулиганов, и перенял от них грубые ухватки и виртуозные ругательства. Все это совершенно очевидное измышление. Из духовного училища Иосиф поступил непосредственно в семинарию, так что для бродячей жизни не оставалось промежутка. Но дело в том, что кличка «кинто» занимает не последнее место в кавказском словаре. Она означает ловкого плута, циника, человека, способного на многое, если не на все. Осенью 1923 года я впервые услышал это определение по адресу Сталина из уст старого грузинского большевика, Филиппа Махарадзе. Может быть, эта кличка прилипла к Иосифу уже в юные годы и породила легенду об уличной главе его жизни?

Тот же биограф говорит о «тяжелом кулаке», при помощи которого Иосиф Джугашвили обеспечивал будто бы свое торжество в тех случаях, когда мирные меры оказывались недействительными. И этому трудно поверить. Рискованное «прямое действие» не было в характере Сталина, по всей вероятности, и в те отдаленные годы. Для работы кулаком он предпочитал и умел находить исполнителей, оставаясь сам на втором плане, если не вовсе за кулисами. «Что ему доставляло сторонников, — говорит Иремашвили, — это страх перед его

грубым гневом и его злобным издевательством. Его сторонники отдавались его руководству, потому что чувствовали себя надежно под его властью... Только такие человеческие типы, которые были достаточно бедны духовно и склонны к драке, могли стать его друзьями...» Неизбежные результаты не заставили себя ждать. Одни из членов кружка отошли, другие все меньше принимали участие в прениях. "Две группировки *за* и *против* Кобы сложились в течение нескольких лет; из деловой борьбы выросла отвратительная личная склока". Это была первая большая «склока» на жизненном пути Иосифа, но не последняя. Их еще много предстоит впереди.

Нельзя не рассказать здесь, далеко забегая вперед, как Сталин, тогда уже генеральный секретарь, нарисовав на одном из заседаний Центрального Комитета удручающую картину личных интриг и склок, развивающихся в разных местных комитетах партии, совершенно неожиданно прибавил: «Но эти склоки имеют и свою положительную сторону, так как ведут к монолитности руководства». Слушатели удивленно переглянулись, оратор безмятежно продолжал свой доклад. Суть этой «монолитности» уже и в юные годы не всегда отождествлялась с идеей. «Дело для него, – говорит Иремашвили, – шло совсем не о нахождении и установлении истины; он оспаривал или защищал то, что прежде утверждал или осуждал. Победа и торжество имели для него гораздо большую цену».

Содержание тогдашних взглядов Иосифа установить невозможно, так как они не оставили письменных следов. По словам Иремашвили, его тезка стоял за самые насильственные действия и за «диктатуру меньшинства». Участие тенденциозного воображения в работе памяти здесь совершенно очевидно: в конце прошлого века самый вопрос о «диктатуре» еще не существовал. Крайние политические взгляды Кобы не сложились, продолжает Иремашвили, в результате «объективного изучения», а явились «естественным продуктом его личной воли к власти, физически и духовно владевшего им беспощадного честолюбия». За несомненным пристрастием в суждениях бывшего меньшевика нужно уметь найти ядро истины: в духовной жизни Сталина личная практическая цель всегда стояла над теоретической истиной, и воля играла неизмеримо большую роль, чем интеллект.

Иремашвили делает еще одно психологическое замечание, которое, если и заключает в себе элемент ретроспективной оценки, остается все же крайне метким: Иосиф «видел всюду и во всем только отрицательную, дурную сторону и не верил вообще в какие бы то ни было идеальные побуждения или качества людей». Эта важнейшая черта, успевшая обнаружиться уже в молодые годы, когда весь мир еще остается обычно покрыт пленкой идеализма, пройдет в дальнейшем через всю жизнь Иосифа как ее лейтмотив. Именно поэтому Сталин, несмотря на другие выдающиеся черты характера, будет оставаться на заднем плане в периоды исторического подъема, когда в массах пробуждаются их лучшие качества бескорыстия и героизма, и, наоборот, его циничское неверие в людей и способность играть на худших струнах, найдет для себя простор в эпоху реакции, которая кристаллизует эгоизм и вероломство.

Иосиф Джугашвили не только не стал священником, как мечтала его мать, но и не дотянул до аттестата, который мог бы открыть ему двери некоторых провинциальных университетов. Почему так случилось, на этот счет имеется несколько версий, которые не легко согласовать. В воспоминаниях, написанных в 1929 году, Абель Енукидзе рассказывает, что Иосиф в семинарии начал тайно читать книги вредного направления, что это учение не ускользнуло от бдительных глаз инспектора и что опасный воспитанник «вылетел из семинарии». Официальный кавказский историк Берия сообщает, что Сталин был «исключен за неблагонадежность». Невероятного в этом, разумеется, нет ничего; подобные исключения были нередки. Станным кажется лишь, что до сих пор не опубликованы соответственные документы семинарии. Что они не сгорели и не затерялись в водовороте революционных годов,

видно хотя бы из уже упомянутой мемориальной доски и еще больше – из полного умолчания об их судьбе. Не потому ли документы не публикуются, что они заключают неблагоприятные данные или опровергают кое-какие легенды позднейшего происхождения?

Чаще всего можно встретить утверждение, что Джугашвили был исключен за руководство социал-демократическими кружками. Его бывший товарищ по семинарии, Елисабедашвили, малонадежный свидетель, сообщает, будто в социал-демократических кружках, организованных «по указанию и под руководством Сталина», насчитывалось «сто – сто двадцать пять» семинаристов. Если бы речь шла о 1905-06 годах, когда все воды вышли из берегов и все власти растерялись, этому можно было бы еще поверить. Но для 1899 года цифра является совершенно фантастической. При такой численности организации дело не могло бы ограничиться простым исключением: вмешательство жандармов было бы совершенно неизбежным. Между тем Иосиф не только не был немедленно арестован, но оставался на свободе еще около трех лет после ухода из семинарии. Версию о социал-демократических кружках, как причине исключения, приходится поэтому решительно отвергнуть.

Осторожнее излагает этот вопрос уже знакомый нам Гогохия, у которого вообще заметно стремление не слишком отрываться от почвы фактов. «Иосиф перестал уделять внимание урокам, – пишет он, – учился на тройки – лишь бы сдать экзамены... Свирепый монах Абашидзе догадывался, почему талантливый, развитый, обладавший невероятно богатой памятью Джугашвили учится „на тройки“... и добился постановления об исключении его из семинарии». О чем «догадывался» монах, возможны, в свою очередь, только догадки. Из слов Гогохия с несомненностью вытекает лишь то, что Иосиф был исключен из семинарии за неуспешность, которая явилась результатом его внутреннего разрыва с богословской премудростью. Тот же вывод можно сделать и из рассказа Капанадзе о «переломе», который произошел в Иосифе во время учения в тифлисской семинарии: «Он был уже не таким, как раньше, прилежным учеником». Достойно внимания, что Капанадзе, Глурджидзе и Елисабедашвили совершенно обходят вопрос об исключении Иосифа из семинарии.

Но поразительнее всего то обстоятельство, что мать Сталина в последний период своей жизни, когда ею стали интересоваться официальные историки и журналисты, категорически отрицала самый факт исключения. При вступлении в семинарию пятнадцатилетний мальчик отличался, по ее словам, цветущим здоровьем, но усиленные занятия истощили его в такой мере, что врачи опасались туберкулеза. Екатерина прибавляет, что сын ее не хотел покидать семинарию и что она «взяла» его против его воли. Это звучит маловероятно. Плохое здоровье могло вызвать временный перерыв в занятиях, но не полный разрыв со школой, не отказ матери от столь заманчивой карьеры для сына. С другой стороны, в 1899 году Иосифу было уже двадцать лет, он не отличался податливостью, и вряд ли матери было так легко распоряжаться его судьбой. Наконец, по выходе из семинарии Иосиф вовсе не вернулся в Гори, под крыло матери, что было бы наиболее естественно в случае болезни, а остался в Тифлисе без занятия и без средств. Старуха Кеке чего-то не договорила журналистам. Можно предположить, что мать считала, в свое время, исключение сына великим для себя позором, и так как дело происходило в Тифлисе, то она заверяла соседей в Гори, что сын не исключен, а добровольно покинул семинарию по состоянию здоровья. Старухе должно было к тому же казаться, что «вождю» государства не приличествовало быть исключенным в юности из школы. Вряд ли можно искать каких-либо других, более скрытых причин той настойчивости, с которой Кеке повторяла: «Он не был исключен, я его сама взяла».

Но может быть, Иосиф действительно не подвергся исключению в точном смысле этого слова. Такую версию, пожалуй наиболее вероятную, дает Иремашвили. По его словам, семинарские власти, разочаровавшиеся в своих ожиданиях, стали относиться к Иосифу все с большей неблагоприятностью и придирчивостью. «Так вышло, что Коба, который убедился в бесплодности для него усердных занятий, постепенно стал худшим учеником в

семинарии. На укоризненные замечания учителей он отвечал своей ядовитой презрительной усмешкой». Свидетельство, которое школьные власти выставили ему для перехода в шестой и последний класс, было так плохо, что Коба сам решил покинуть семинарию за год до ее окончания. Если принять это объяснение, то сразу становится понятным, почему Енукидзе пишет «вылетел из семинарии», избегая более точных определений: «был исключен» или «покинул семинарию»; почему большинство товарищей по школе вообще умалчивает о столь значительном моменте семинарской жизни Иосифа; почему не публикуются документы; почему, наконец, мать считала себя вправе утверждать, что сын ее не был исключен, хотя сама она давала эпизоду иную окраску, перелагая ответственность за сына на себя. С точки зрения личной характеристики Сталина или его политической биографии вряд ли подробности разрыва с семинарией имеют большое значение. Но зато они недурно иллюстрируют те трудности, которые тоталитарная историография ставит на пути исследования даже в столь второстепенном вопросе.

Иосиф вступил в подготовительное училище одиннадцати лет, в 1890 году, перешел через четыре года в семинарию и покинул ее в 1899 году, всего пробыв, таким образом, в духовных школах девять лет. Грузины созревают рано. Иосиф вышел из семинарии взрослым человеком, « без диплома, — пишет Гогохия, — но с определенными взглядами на жизнь». Девятилетний период богословской учебы не мог не наложить глубокий отпечаток на его характер, на склад его мыслей, начиная с его стиля, который составляет существенную часть личности.

Языком семьи и окружающей среды был грузинский. Мать и в старости не знала русского языка. Вряд ли иначе обстояло дело с отцом. Мальчик учился русской речи только в школе, где большинство учащихся составляли опять-таки грузины. Духа русского языка, его свободной природы, его внутреннего ритма Иосиф так и не усвоил. Но это только одна сторона дела. Чужому языку, который призван был заменить ему родной, Иосиф учился в искусственной атмосфере духовной школы. Обороты русской речи он ощущал не как естественный и неотъемлемый духовный орган для выражения собственных чувств и мыслей, а как искусственное и внешнее орудие для передачи чуждой, а затем и ненавистной ему мистики. В последующей жизни он оказался тем менее способен ассимилировать и, так сказать, интимизировать язык, уточнить и облагородить его, что человеческая речь вообще призвана была служить ему гораздо больше для того, чтобы скрывать или прикрашивать свои мысли и чувства, чем для того, чтобы выражать их. В результате русский язык навсегда остался для него не только полуиностранным и приблизительным, но, что гораздо хуже для сознания, условным и натянутым.

Можно без труда понять, что с того времени, как Иосиф внутренне порвал с религией, ему стало нестерпимо изучать гомиетику и литургику. Гораздо труднее понять то обстоятельство, что ему в течение столь долгого времени удавалось вести двойственное существование. Если исходить из рассказа о том, что Сосо уже в 13 лет противопоставлял Дарвина библии, тогда придется сделать вывод, что он после этого еще в течение семи лет терпеливо изучал богословие, хотя и с убывающим рвением. Сам Сталин относит зарождение своего революционного мирозерцания к пятнадцатому-шестнадцатому году жизни. Вполне возможно, что он на два-три года раньше отвернулся от религии, чем повернулся к социализму. Но если даже допустить, что то и другое произошло одновременно, окажется, что молодой атеист в течение целых пяти лет продолжал изучать тайны православия.

Правда, в царских учебных заведениях многим свободомыслящим юношам приходилось вести двойственную жизнь. Но это относится главным образом к университетам, где режим отличался все же значительной свободой и где официальное лицемерие сводилось к малообременительному ритуальному минимуму. В средних школах разлад переживался труднее, но зато он длился обыкновенно недолго — год-два, когда юноша видел уже вблизи

двери университета с его относительной академической свободой. Положение молодого Джугашвили имело исключительный характер: он учился не в светском учебном заведении, где воспитанники находились под надзором только часть дня и где так называемый «закон божий» составлял фактически один из второстепенных предметов, а в закрытом учебном заведении, где вся жизнь была подчинена требованиям церкви и где каждый шаг совершался на глазах монахов. Чтоб выдержать этот режим двойственности в течение семи или хотя бы пяти лет, нужна была исключительная осторожность и совершенно незаурядная способность к притворству. За годы пребывания в семинарии никто не отмечает с его стороны какого-либо открытого протеста, смелого акта возмущения. Иосиф издевался над учителями за спиной, но не дерзил им в глаза. Он не наносил пощечин педагогам-шовинистам, как некогда Джибладзе; самое большое, он отвечал им «презрительной усмешкой». Его враждебность имела сдержанный, подспудный, выжидательный характер. Семинаристу Помяловскому период ученической жизни привил, как мы слышали, «недоверчивость, скрытность, озлобление и ненависть к окружающей среде». Почти то же, но гораздо резче говорит Иремашвили о Кобе: "В 1899 году он покинул семинарию, унося с собой злобную, лютую вражду против школьного управления, против буржуазии, против всего, что существовало в стране и воплощало царизм. Ненависть против всякой власти.

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР»

В 1883 году, когда Сосо шел четвертый год, нефтяная столица Кавказа, Баку, была соединена рельсами с черноморским портом Батумом. Наряду с горным хребтом Кавказ нашел свой железнодорожный хребет. За нефтяной промышленностью стала подниматься марганцевая. В 1896 году, когда Сосо уже начал мечтать об имени Кобы, вспыхнула первая стачка в железнодорожных мастерских Тифлиса.

В отношении развития промышленности, как и идей, Кавказ шел на буксире у центральной России. В течение второй половины девяностых годов марксизм становится господствующей тенденцией в среде радикальной интеллигенции, начиная с Петербурга. Когда Коба еще изнывал в спертой атмосфере семинарского богословия, социал-демократическое движение уже успело принять широкие размеры. Бурная волна стачек прокатывается по всей стране. Первые сотни, затем тысячи интеллигентов и рабочих подвергаются арестам и высылкам. В революционном движении открывается новая глава.

В 1891 году, когда Коба стал членом тифлисского Комитета, в Закавказье числилось около 40000 промышленных рабочих на девяти тысячах предприятий, не считая ремесленных мастерских. Ничтожное число, если принять во внимание размеры и богатство края, омываемого двумя морями; но опорные пункты социал-демократической пропаганды уже были на лицо. Фонтаны бакинской нефти, первые выемки чиатурского марганца, животворящая работа железной дороги дали толчок не только стачечному движению рабочих, но и теоретической мысли грузинской интеллигенции. Либеральная газета «Квали» констатировала, скорее с удивлением, чем с враждебностью, выступление на политической арене представителей новой формации: «В грузинской литературе появились с 1893 года одиночки из молодых, с необычным направлением и своеобразной программой; они являются приверженцами теории экономического материализма». В отличие от дворянски-прогрессивного и буржуазно-либерального направления, господствовавших в предшествующие десятилетия, марксисты получили кличку «Месаме-даси», что значит «третья группа». Во главе ее стоял Ной Жордания, будущий лидер кавказских меньшевиков и будущий глава эфемерной демократической Грузии.

Мелкобуржуазная интеллигенция России, стремившаяся вырваться из гнета полицейщины и отсталости, из безличного муравейника, каким было старое общество, вынуждена была, ввиду крайне запоздалого развития страны, перепрыгивать через промежуточные ступени. Протестантизм и демократия, под знаменем которых происходили революции XVII и XVIII веков на Западе, давно успели превратиться в консервативные доктрины. Полунищая кавказская богема никак не могла обольщаться либеральными абстракциями. Ее вражда к господствующим и привилегированным принимала вполне естественную социальную окраску. Для предстоявших ей битв интеллигенции нужна была свежая, еще не скомпрометированная теория. Она нашла ее в западном социализме, в его высшем научном выражении — марксизме. Дело шло теперь уже не о равенстве перед богом и не о равенстве перед законом, а об экономическом равенстве. В действительности же при помощи отдаленной социалистической перспективы интеллигенция страховала свою борьбу против царя от скептицизма, который преждевременно угрожал ей со стороны опыта западной демократии. Этими условиями и обстоятельствами определялся характер тогдашнего русского, тем более кавказского марксизма, очень ограниченного и примитивного, ибо приспособленного к политическим нуждам отсталой провинциальной интеллигенции. Теоретически мало реальный сам по себе, этот марксизм оказывал интеллигенции, однако, вполне реальную услугу, воодушевляя ее на борьбу с царизмом.

Критическим острием своим марксизм 90-х годов был направлен прежде всего против выродившегося народничества, которое суеверно боялось капиталистического развития, надеясь на «особые», привилегированные исторические пути для России. Защита прогрессивной миссии капитализма составляла поэтому главную тему интеллигентского марксизма, отодвигая нередко на задний план проблему классовой борьбы пролетариата. Ной Жордания усердно проповедовал в легальной печати единство интересов «нации»: он имел при этом в виду необходимость союза пролетариата и буржуазии против самодержавия. Идея этого союза станет впоследствии краеугольным камнем политики меньшевиков и приведет, в конце концов, к их крушению. Официальные советские историки и сейчас еще треплют на все лады давно опрокинутую ходом борьбы концепцию Жордания, закрывая при этом глаза на то, что через три десятилетия Сталин применит политику меньшевиков не только в Китае, но и в Испании, и даже во Франции, т. е. в таких условиях, где она имеет неизмеримо меньше оправдания, чем в полуфеодальной Грузии, под гнетом царизма.

Идеи Жордания и в те годы не встречали, однако, безраздельного признания. К Месамедаси примкнул в 1895 году Саша Цулукидзе, ставший одним из наиболее выдающихся пропагандистов левого крыла. Он умер от туберкулеза 29-ти лет в 1905 году, оставив ряд публицистических работ, свидетельствующих о значительной марксистской подготовке и литературном даровании. В 1897 году вступил в ряды Месамедаси Ладое Кецохвели, бывший воспитанник горийского училища и тифлисской семинарии, как и Коба, но на несколько лет старше его и его руководитель на первых шагах революционного пути. Енукидзе вспоминал в 1923 году, когда мемуаристы еще пользовались достаточной свободой, что «Сталин много раз с удивлением подчеркивал выдающиеся способности покойного товарища Кецохвели, который в то время умел правильно ставить вопросы в духе революционного марксизма». Это свидетельство, особенно слова об «удивлении», опровергают позднейшие рассказы о том, что руководство уже в тот период принадлежало Кобе и что Цулукидзе и Кецохвели были только его «помощниками». Надо еще прибавить, что статьи молодого Цулукидзе и по содержанию, и по форме стояли значительно выше всего того, что двумя-тремя годами позже писал Коба.

Заняв в Месамедаси место на левом крыле, Кецохвели привлек через год молодого Джугашвили. Дело шло собственно не о революционной организации, а о кружке единомышленников, группировавшихся вокруг легальной газеты «Квали» (Борозда), которая в 1896 году перешла из рук либералов в руки молодых марксистов с Жордания во главе. «Мы по секрету часто навещали редакцию „Квали“, — рассказывает Иремашвили. — Коба несколько раз ходил с нами, но затем издевался над членами редакции». Разногласия в тогдашнем марксистском лагере, как ни зачаточны они еще были, имели, однако, вполне реальный характер. Умеренное крыло не верило по-настоящему в революцию, еще менее — в ее близость, рассчитывая на длительный «прогресс», и тяготело к союзу с буржуазным либерализмом. Левое крыло, наоборот, искренне надеялось на революционный подъем масс и потому стояло за более самостоятельную политику. По существу левое крыло состояло из революционных демократов, попадавших в естественную оппозицию к «марксистским» полулибералам. К левому крылу должен был инстинктивно тяготеть Сосо и по личному характеру, и по условиям среды, из которой вышел. Плебейский демократ провинциального типа, вооруженный весьма примитивной «марксистской» доктриной, таким он вошел в революционное движение, и таким он, по существу, остался до конца, несмотря на фантастическую орбиту его личной судьбы.

Разногласия между двумя еще очень неоформленными группировками временно сосредоточились на вопросе о пропаганде и агитации. Одни стояли за осторожную просветительную работу в кружках; другие — за руководство стачками и за агитацию посредством листов. Когда сторонники массовой работы одержали верх, предметом разногласия стал

вопрос о содержании листов. Более осторожные стояли за агитацию на почве исключительно экономических нужд, чтоб «не отпугивать массы»; они получили от своих противников презрительное название «экономистов». Левое крыло, наоборот, считало неотложным переход к революционной агитации против царизма. Такова была за границей, в эмиграции, позиция Плеханова. Такова была в России позиция Владимира Ульянова и его друзей.

«Первые социал-демократические группы возникли в Тифлисе, — рассказывает один из пионеров. — Уже в 1896-97 годах существовали в этом городе кружки, в которых преобладающий элемент составляли рабочие. Эти кружки носили первоначально чисто образовательный характер... Число этих кружков увеличивалось постоянно. В 1900 году их было уже несколько десятков тысяч. Каждый кружок состоял из 10–15 человек». С возрастанием численности кружков смелее становилось содержание их деятельности.

Еще будучи семинаристом, Коба вступает в 1898 году в связь с рабочими и примыкает к социал-демократической организации. «Однажды вечером Коба и я, — вспоминает Иремашвили, — тайно пробрались из семинарии в Мтац-минда, в маленький прислонившийся к скале домик, принадлежавший рабочему тифлисских железных дорог. Вслед за нами скоро прибыли крадучись наши единомышленники из семинарии. С нами собралась еще социал-демократическая рабочая организация железнодорожников». Сам Сталин рассказал об этом в 1926 году на митинге в Тифлисе: «Я вспоминаю 1898 год, когда я впервые получил кружок из рабочих железнодорожных мастерских. Я вспоминаю, как я на квартире у товарища Стурца в присутствии Сильвестра Джигладзе (он был тогда тоже одним из моих учителей)... и других передовых рабочих Тифлиса получил уроки практической работы... Здесь, в кругу этих товарищей, я получил тогда первое свое боевое революционное крещение, здесь, в кругу этих товарищей, я стал тогда учеником революции...»

В 1898–1900 годах в железнодорожных мастерских и на ряде фабрик Тифлиса возникают забастовки при активном, иногда руководящем участии молодых социал-демократов. Среди рабочих распространяются прокламации, отпечатанные ручным способом, при помощи сапожной щетки, в подпольной типографии. Движение разворачивается еще в духе «экономизма». Часть нелегальной работы ложилась на Кобу; какая именно часть, сейчас определить нелегко. Но он уже успел, видимо, стать своим человеком в мире революционного подполья.

В 1900 году Ленин, едва закончив сибирскую ссылку, отправляется за границу с намерением основать революционную газету, чтоб при ее помощи сплотить разрозненную партию и окончательно перевести ее на рельсы революционной борьбы. Одновременно старый революционер, инженер Виктор Курнатовский, близко посвященный в эти планы, направляется из Сибири в Тифлис. Именно он, а не Коба, как утверждают теперь византийские историки, вывел тифлисскую социал-демократию из «экономической» ограниченности и придал более революционное направление ее работе.

Курнатовский начал революционную деятельность еще в террористической партии «Народная Воля». Во время своей третьей ссылки, в конце столетия, он, уже в качестве марксиста, тесно сблизился с Лениным и его кружком. Основанная Лениным за границей газета «Искра», сторонники которой стали называться искровцами, имела в лице Курнатовского своего главного представителя на Кавказе. Старые тифлисские рабочие вспоминают: «К Курнатовскому обращались все товарищи во время всяких споров и дискуссий. Его выводы и заключения всегда принимались без возражения». Из этого свидетельства видно, какое значение имел для Кавказа этот неутомимый и неsgiбаемый революционер, личная судьба которого сочеталась из двух элементов: героического и трагического.

В 1900 году возникает, несомненно по инициативе Курнатовского, тифлисский Комитет социал-демократической партии, состоявший из одних интеллигентов. Коба, видимо подпавший вскоре, как и другие, под влияние Курнатовского, не был еще включен в Комитет,

который продержался, впрочем, недолго. С мая по август проходит волна стачек на тифлисских предприятиях; в железнодорожных мастерских в числе стачечников числится слесарь Калинин, будущий председатель Советской республики, и другой русский рабочий, Аллилуев, будущий тесть Сталина.

На севере открылась тем временем полоса уличных выступлений, инициатива которых принадлежала студентам. Крупная первомайская демонстрация в Харькове в 1900 году поднимает на ноги большинство рабочих города и порождает эхо изумления и восторга во всей стране. За Харьковом следуют другие города. «Социал-демократия поняла, – пишет жандармский генерал Спиридович, – огромное агитационное значение выхода на улицу. Отныне она берет инициативу демонстраций на себя, привлекая к ним все больше рабочих. Нередко уличные демонстрации вырастают из стачек». Тифлис отстает ненадолго. Первомайский праздник – не забудем, что в России царит еще старый календарь – ознаменовался 22-го апреля 1901 года уличной демонстрацией в центре города, в которой приняло участие около двух тысяч человек. Во время столкновения с полицией и казаками ранено 14 и арестовано свыше 50 демонстрантов. «Искра» не преминула отметить важное симптоматическое значение тифлисской демонстрации: «С этого дня на Кавказе начинается открытое революционное движение».

Курнатовский, руководивший подготовительной работой, был арестован в ночь на 22 марта, за месяц до демонстрации. В эту же ночь был произведен обыск в обсерватории, где работал Коба; но его не удалось захватить, так как он отсутствовал. Жандармское управление постановило «привлечь названного Иосифа Джугашвили и допросить обвиняемым». Так Коба перешел на «нелегальное положение» и надолго стал «профессиональным революционером». Ему было в это время 22 года. До победы оставалось еще 16 лет.

Избегнув ареста, Коба в ближайшие недели скрывался в Тифлисе, так что ему удалось принять участие в первомайской манифестации. Берия говорит об этом категорически, прибавляя, как всегда, что Сталин «лично руководил» ею. К сожалению, доверять Берия нельзя. Однако мы имеем на этот счет и показания Иремашвили, правда, находившегося не в Тифлисе, а в Гори. «Коба, один из разыскивавшихся вожаков, – рассказывает он, – успел скрыться с базарной площади перед арестом... Он бежал в свой родной город Гори. У своей матери он также не мог проживать, так как там его первым делом искали. Он должен был поэтому скрываться также и в Гори. Тайно, в ночные часы, он часто посещал меня в моей квартире». Иремашвили успел к этому времени стать учителем в родном городке.

Тифлисская манифестация произвела на Кобу сильнейшее впечатление. «Не без тревоги» замечал Иремашвили, что именно кровавый исход столкновения воодушевлял его друга. «В борьбе на жизнь и на смерть должно было, по мнению Кобы, укрепить движение; кровавая борьба должна была принести скорейшее решение». Иремашвили не догадывался, что его друг лишь повторял проповедь «Искры».

Из Гори Коба, очевидно, снова вернулся нелегально в Тифлис, так как, по сведениям жандармского управления, «осенью 1901 года Джугашвили был избран в состав тифлисского Комитета... участвовал в двух заседаниях этого Комитета, а в конце 1901 года был командирован для пропаганды в Батум...» Так как у жандармов не было иной «тенденции», кроме изловления революционеров, причем благодаря внутренней агентуре, они оказывались обычно неплохо осведомленными, то мы можем считать установленным, что в 1898–1901 году Коба отнюдь не играл в Тифлисе той руководящей роли, которую ему стали приписывать в последние годы: до самой осени 1901 года он не входил даже в местный Комитет, а только состоял одним из пропагандистов, т. е. руководителем кружков.

В конце 1901 года Коба переезжает из Тифлиса в Батум, на побережье Черного моря, поблизости турецкой границы. Переселение может быть без труда объяснено необходимостью скрыться с глаз тифлисской полиции и потребностями перенесения революционной

пропаганды в провинцию. Меншевистские издания дают, однако, другую версию. С первых дней своей деятельности в рабочих кружках Джугашвили обратил на себя, по их словам, внимание своими интригами против Джибладзе, главного руководителя тифлисской организации. Несмотря на предостережение, он продолжал распространять клевету «с целью умалить подлинных и признанных представителей движения и занять руководящую позицию». Преданный партийному суду, Коба был признан виновным в недостойной клевете и единогласно исключен из организации. Вряд ли существует способ проверить этот рассказ, исходящий, не будем забывать, от ожесточенных противников Сталина. Документы тифлисского жандармского управления, по крайней мере те, которые опубликованы до сих пор, ничего не знают об исключении Иосифа Джугашвили из партии, наоборот, говорят об его командировке в Батум «для пропаганды». Можно бы поэтому оставить вовсе без внимания версию меньшевиков, если бы некоторые другие свидетельства не наводили на мысль, что дело с переселением Кобы обстояло не вполне гладко.

Один из первых и вполне добросовестных историков рабочего движения на Кавказе, Т. Аркомед, книжка которого вышла в Женеве в 1910 году, рассказывает об остром конфликте, возникшем в тифлисской организации осенью 1901 года в связи с вопросом о привлечении в Комитет выборных представителей от рабочих. "Против этого выступил один молодой, неразборчиво-энергичный во всех делах, интеллигентный товарищ и, выставя конспиративные соображения, неподготовленность и несознательность рабочих, высказался против допущения рабочих в Комитет. Обращаясь к рабочим, он кончил свою речь словами: «Здесь льстят рабочим; спрашиваю вас, есть ли среди вас хоть один-два подходящих для Комитета рабочих, скажите правду, положи руку на сердце?» Рабочие, однако, не вняли оратору и подали голоса за включение своих представителей в Комитет. Аркомед не называет «неразборчиво-энергичного» молодого человека по имени, так как в те годы разоблачение имен не допускалось обстоятельствами. В 1923 году, когда работа была переиздана советским издательством, имя по-прежнему осталось нераскрытым, и, надо думать, не случайно. Однако, книжка включает в себе ценное косвенное указание. «Упомянутый молодой товарищ, — продолжает Аркомед, — скоро после этого перенес свою деятельность из Тифлиса в Батум, откуда тифлиссские работники получили сведения об его некорректном отношении, враждебной и дезорганизаторской агитации против тифлисской организации и ее работников». По словам автора, враждебное поведение диктовалось не принципиальными мотивами, а «личными капризами и стремлением к самовластью». Все это чрезвычайно похоже на то, что мы слышали от Иремашвили по поводу склоки в семинарском кружке. «Молодой человек» очень похож на Кобу. Не может быть никакого сомнения в том, что дело идет именно о нем, так как из членов тифлиссского Комитета, как вытекает из многочисленных воспоминаний, в Батум переехал в ноябре 1901 года именно он и только он. Естественно поэтому допустить, что перемена арены работы стала необходимой вследствие того, что в Тифлисе почва под ногами Кобы успела слишком нагреться. Если не было «исключения», могло быть удаление из Тифлиса с целью оздоровления атмосферы. Отсюда, в свою очередь, «некорректное отношение» Кобы к тифлисской организации и позднейшие слухи об его исключении. Заметим себе заодно и повод конфликта: Коба охраняет «аппарат» от давления снизу.

Батум, насчитывавший в начале столетия около 30000 душ населения, представлял собой по тогдашним масштабам значительный промышленный пункт на Кавказе. Количество рабочих на заводах доходило до 11 тысяч. Рабочий день, как полагается, превышал 14 часов при нищенской плате. Немудрено, если пролетарская среда была в высшей степени восприимчива к революционной пропаганде. Как и в Тифлисе, Кобе отнюдь не приходилось начинать сначала: нелегальные кружки существовали в Батуме уже с 1896 года. Вместе с рабочим Канделаки Коба расширил сеть этих кружков. На новогодней вечеринке они объ-

единились в общую организацию, которая не получила, однако, прав Комитета и оставалась зависимой от Тифлиса. Таков, очевидно, один из источников тех новых трений, о которых мы слышали от Аркомеда. Коба вообще не терпел никого над собой.

В начале 1902 года батумской организации удалось поставить нелегальную типографию, очень примитивную, которая помещалась в квартире, где проживал Коба. Столь вопиющее нарушение правил конспирации вызывалось, несомненно, скудостью материальных средств. «Тесная комнатка, тускло освещенная керосиновой лампой. За маленьким круглым столиком сидит Сталин и пишет. Сбоку от него – типографский станок, у которого берутся наборщики. Шрифт разложен в спичечных и папиросных коробках и на бумажках. Сталин часто передает наборщикам написанное». Так вспоминает один из участников организации. Нужно прибавить, что текст прокламаций стоял на том же приблизительно уровне, что и техника печатания. Несколько позже при содействии армянского революционера Камо, с которым нам еще предстоит встретиться, из Тифлиса были привезены нечто вроде печатного станка, кассы, шрифт. Типография расширилась и усовершенствовалась. Литературный уровень прокламаций оставался тот же. Но это не мешало им оказывать свое действие.

25-го февраля (1902 г.) администрация керосинового завода Ротшильд вывесила объявление об увольнении 389 рабочих. В ответ 27-го вспыхнула стачка. Брожение перекинулось на другие заводы. Возникли стычки с штрейкбрехерами. Полицмейстер запросил у губернатора помощи войсками. 7-го марта полиция арестовала 32 рабочих. На следующее утро около четырехсот рабочих завода Ротшильд собрались у тюрьмы, требовали освобождения или ареста всех остальных. Полиция препроводила всех в пересыльные казармы. Чувство солидарности все теснее спаивало в то время рабочие массы России, и эта массовая спайка проявлялась каждый раз по-новому в самых глухих углах страны: до революции оставалось всего три года... На следующий день, 9-го марта, возникла более крупная демонстрация. К казармам приблизилась, по словам обвинительного акта, «огромная толпа рабочих с вожаками впереди, шествуя правильными рядами, с песнями, шумом и свистом». В толпе было около двух тысяч человек. Рабочие Химирьянц и Гогиберидзе заявили военным властям от имени толпы то же требование: или освободить заключенных, или арестовать всех. Толпа, как признал впоследствии суд, была «мирно настроенной и невооруженной». Власти сумели, однако, вывести ее из мирного настроения. На попытку солдат очистить площадь прикладами рабочие ответили камнями. Войска стали стрелять, убили 14 человек, ранили 54. Событие потрясло всю страну: в начале столетия людские нервы неизмеримо чувствительнее реагировали на массовые убийства, чем сейчас.

Какова была роль Кобы в этой демонстрации? Ответить не легко. Советские компиляторы раздираются между противоречивыми задачами: приписать Сталину участие в возможно большем числе революционных событий и, в то же время, как можно дольше продлить сроки его тюремных заключений и ссылок. Придворные художники иллюстрируют два несовпадающих хронологических ряда, изображая Сталина в один и тот же момент уличным героем и тюремным страдальцем. 27-го апреля 1937 г. официальные московские «Известия» поместили фотоснимок с картины художника К. Хуцишвили, изображающей Сталина организатором забастовки тифлисских железнодорожников в 1902 году. На другой день редакция увидела себя вынужденной покаяться в допущенной ошибке. «Из биографии т. Сталина, – гласило заявление, – известно, что он... с февраля 1902 года до конца 1903 года сидел в Батумской и Кутаисской тюрьмах. Стало быть, т. Сталин не мог быть организатором забастовки в Тбилиси (Тифлисе) в 1902 году. Запрошенный по этому поводу т. Сталин заявил, что изображение его организатором забастовки железнодорожников в Тбилиси в 1902 году, с точки зрения исторической правды, является сплошным недоразумением, так как в это время он сидел в тюрьме в Батуме». Но если верно, что Сталин сидел в тюрьме с февраля, тогда «с точки зрения исторической правды» он не мог руководить и батумской

демонстрацией, происшедшей в марте. Однако на этот раз ошибся не только чрезмерно усердный художник, ошиблась и редакция «Известий», несмотря на ее обращение к первоисточнику. Коба был на самом деле арестован не в феврале, а в апреле. Он не мог руководить тифлисской стачкой не потому, что сидел в тюрьме, а потому, что находился на берегу Черного моря. Он имел зато полную возможность принять участие в батумских событиях. Остается выяснить, в чем оно состояло.

Читатель замечает, вероятно не без сожаления, что изложение фактов осложняется критическими замечаниями по адресу источников. Автор хорошо понимает неудобство такого метода, но у него нет выбора. Документов, современных событиям, почти нет или они скрыты. Воспоминания позднейших лет тенденциозны, если не лживы. Представлять читателю готовые выводы, расходящиеся с официальной версией, значило бы возбуждать подозрение в пристрастии. Не остается ничего другого, как производить критику источников на глазах читателя.

Французский биограф Сталина, Барбюс, писавший под диктовку в Кремле, утверждает, что Коба занял место во главе батумской манифестации «как мишень». Эта напыщенная фраза противоречит не только данным полицейского дознания, но и характеру Сталина, который никогда и нигде не становился как мишень (что впрочем и не требуется). Непосредственно подчиненное Сталину издательство ЦК посвятило в 1937 году батумской демонстрации, вернее участию в ней Сталина, целый том. Однако 240 убогих страниц еще больше запутали вопрос, так как продиктованные сверху «воспоминания» находятся в полном противоречии с частично опубликованными документами. «Товарищ Сосо все время находился на месте событий и руководил центральным стачечным комитетом», — покорно пишет Тодрия. «Тов. Сосо все время был с нами», — утверждает Гогиберидзе. Старый батумский рабочий Дарахвелидзе рассказывает, что Сосо находился «среди бушующего моря рабочих, непосредственно руководил движением; рабочего, раненного в руку во время стрельбы, Г. Каландадзе, он сам вывел из толпы и отвел его на квартиру». Руководитель вряд ли мог покинуть свой пост, чтоб вывести раненого: обязанность санитара мог выполнить рядовой участник демонстрации. Об этом сомнительном эпизоде не упоминает к тому же никто из остальных авторов, а их — 26. Но это, в конце концов, деталь. Рассказы о Кобе как непосредственном руководителе демонстрации гораздо более радикально опровергаются тем обстоятельством, что демонстрация, как слишком явно обнаружилось на суде, прошла без руководства. Даже рабочих Гогиберидзе и Химирьянца, действительно шедших во главе толпы, царский суд, вопреки настояниям прокурора, признал рядовыми участниками шествия. Имя Джугашвили во время судебного процесса, несмотря на многочисленность подсудимых и свидетелей, вообще не называлось. Легенда рушится, таким образом, сама собой. Участие Кобы в батумских событиях имело, видимо, закулисный характер.

После манифестации Коба, по словам Берия, проводит «огромную» работу, пишет прокламации, организует их печатание и распространение; похоронную процессию в честь жертв 9-го марта он превращает в «грандиозную политическую демонстрацию» и пр. К сожалению, эти ритуальные гиперболы ничем не подкреплены. Коба в это время разыскивался полицией и вряд ли мог проявлять «огромную» и «грандиозную» активность в небольшом городе, где он, по словам того же Берия, играл перед тем видную роль на глазах демонстрирующей толпы, полиции, войск и уличных зрителей. В ночь на 5 апреля, во время заседания руководящей партийной группы, Коба был арестован вместе с другими сотрудниками и заключен в тюрьму. Открылся ряд томительных дней. Их было много.

Опубликованные документы раскрывают здесь в высшей степени интересный эпизод. Через три дня после ареста Кобы, во время очередного свидания заключенных с посетителями были выброшены кем-то из окна на тюремный двор две записки, в расчете на то, что кто-либо из посетителей поднимет их и передаст по назначению. В одной записке заключа-

лась просьба повидаться в Гори со школьным учителем Сосо Иремашвили и сказать ему, что "Сосо Джугашвили арестован и просит его сейчас же сообщить об этом матери на тот конец, что если жандармы спросят ее «когда твой сын выехал из Гори», то сказала бы «все лето и зиму до 15 марта находился здесь». Вторая записка, адресованная учителю Елисабедашвили, касалась необходимости продолжения им революционной работы. Оба клочка бумаги оказались, однако, перехвачены тюремным надзором, и жандармский ротмистр Джакели сделал без труда вывод, что автором записок является Джугашвили и что этот последний «играл видную роль в рабочих беспорядках в Батуме». Джакели послал немедленно начальнику тифлисского жандармского управления требование об обыске у Иремашвили, допросе матери Джугашвили, а также об обыске и аресте Елисабедашвили. О результатах этих операций опубликованные документы не сообщают ничего.

С чувством облегчения мы встречаем на страницах официального издания уже знакомое нам имя: Сосо Иремашвили. Правда, Берия уже называл его в числе членов семинарского кружка. Но это мало говорит о взаимоотношениях двух Сосо. Между тем, характер одной из перехваченных записок дает совершенно неоспоримое доказательство того, что автор воспоминаний, которыми нам пришлось уже не раз пользоваться и еще придется в дальнейшем, действительно находился в близких отношениях с Кобой. Именно ему, другу детства, арестованный поручает дать инструкции своей матери о том, как отвечать жандармам. Этим подтверждается и тот факт, что Иремашвили действительно имел право на доверие Кеке, которая, как мы от него слышали, называла его в детстве своим «вторым Сосо». Тем самым рассеиваются последние сомнения относительно достоверности столь ценных воспоминаний, игнорируемых официальными советскими историками. Инструкция, которую Коба, в соответствии с его собственными показаниями на допросе, пытался передать матери, имела целью обмануть жандармов относительно срока его приезда в Батум и тем поставить его самого в стороне от предстоящего процесса. Видеть в этой попытке что-либо предосудительное, разумеется, не приходится. Обмануть жандармов входило в правила той очень серьезной игры, которая называлась революционной конспирацией. Нельзя, однако, не остановиться с чувством изумления перед той неосторожностью, с какой Коба подвел под удар двух своих товарищей. Не меньшего внимания заслуживает чисто политическая сторона дела. У революционера, участвовавшего в подготовке столь трагически закончившейся демонстрации, естественно было бы предполагать желание разделить с рядовыми рабочими скамью подсудимых, — отнюдь не по сантиментальным соображениям, а чтоб иметь возможность политически осветить события и заклеить поведение властей, т. е. использовать судебную трибуну для целей революционной пропаганды: такие случаи представлялись не часто! Отсутствие у Кобы подобного стремления можно объяснить только узостью кругозора. Он явно не охватывал политического значения демонстрации и ставил себе единственной целью остаться в стороне.

Самый замысел: обмануть жандармов был бы, кстати сказать, невозможен, если бы Коба действительно руководил уличным шествием, шел во главе толпы, подставлял себя как «мишень». В этом случае десятки свидетелей неизбежно опознали бы его. Уклониться от привлечения к суду Коба мог лишь в том случае, если его участие в демонстрации оставалось тайным, анонимным. Действительно, только один полицейский пристав Чхикнадзе показал на предварительном следствии, что видел Джугашвили «в толпе» у тюрьмы. Но одинокое полицейское свидетельство не могло иметь на суде большой доказательной силы. Во всяком случае, несмотря на это показание и на перехваченную записку самого Кобы, он так и не был привлечен к делу о демонстрации. Процесс слушался через год и длился девять дней. Политическое направление судебных прений оказалось полностью в руках либеральных адвокатов, которые добились, правда, минимальных наказаний для 21 подсудимого, но ценою принижения революционного смысла батумских событий.

Полицейский пристав, производивший арест руководителей батумской организации, характеризует в своем рапорте Кобу как «уволенного из духовной семинарии, проживающего в Батуме без письменного вида и определенных занятий, а также и квартиры, горийского жителя Иосифа Джугашвили». Ссылка на увольнение из семинарии не имеет документального характера, так как простой пристав не мог располагать никакими архивами и писал, очевидно, по слухам; гораздо убедительнее ссылка на то, что у Кобы не было ни паспорта, ни определенных занятий, ни квартиры: три классических признака революционного троглодита.

В старых и запущенных провинциальных тюрьмах Батума, Кутаиса и снова Батума Коба провел свыше полутора лет, – довольно обычный по тем временам срок следствия и ожидания высылки. Режим в тюрьме, как и в стране, сочетал варварство с патриархальностью. Мирные и даже фамильярные отношения с администрацией нарушались бурными протестами, когда заключенные грохотали в двери камер сапогами, кричали, свистали, ломали посуду и мебель. После бури снова наступало затишье. Об одном из таких взрывов в кутаисской тюрьме, разумеется, «по инициативе и под руководством Сталина», кратко рассказывает Лолуа. Нет оснований сомневаться, что в тюремных конфликтах Коба занимал не последнее место и что в сношениях с администрацией он умел постоять за себя и за других.

«В тюремной жизни он установил распорядок, – рассказывает спустя 35 лет Каландадзе, – вставал рано утром, занимался гимнастикой, затем приступал к изучению немецкого языка и экономической литературы... Любил он делиться с товарищами своими впечатлениями от прочитанных книг...» Совсем не трудно представить себе список этих книг: популярные произведения по естествознанию; кое-что из Дарвина; «История культуры» Липперта; может быть, старики Бокль и Дрэпер в переводах семидесятых годов; «Биографии великих людей» в издании Павленкова; экономическое учение Маркса в изложении русского профессора Зиберы; кое-что по истории России; знаменитая книга Бельтова об историческом материализме (под этим псевдонимом выступил в легальной литературе эмигрант Плеханов); наконец, вышедшее в 1899 году капитальное исследование о развитии русского капитализма, написанное ссыльным В. Ульяновым, будущим Н. Лениным, под легальным псевдонимом В. Ильина. Всего этого было и много и мало. В теоретической системе молодого революционера оставалось, конечно, больше прорех, чем заполненных мест. Но он оказывался все же недурно вооружен против учения церкви, аргументов либерализма и особенно предрассудков народничества.

Марксизм одержал над народничеством в течение девяностых годов теоретическую победу, которая опиралась на успехи капитализма и на рост рабочего движения. Однако рабочие стачки и демонстрации дали толчок пробуждению деревни, которое, в свою очередь, привело к возрождению народнической идеологии среди городской интеллигенции. Так, в начале столетия начинает довольно быстро расти ублюдочное революционное направление, которое усваивает кое-что из марксизма, отказывается от романтических имен «Земля и Воля» или «Народная Воля» и принимает более европейское название: Партия Социалистов-Революционеров. Борьба с «экономизмом» была зимою 1902-03 года в основе закончена: идеи «Искры» нашли слишком убедительное подтверждение в успехах политической агитации и в уличных демонстрациях. С 1902 года «Искра» отводит все больше места борьбе с эклектической программой социалистов-революционеров и с проповедовавшимися ими методами индивидуального террора. Страстная полемика «седых» и «серых» проникает во все углы страны, в том числе, конечно, и в тюрьмы. Кобе не раз приходилось скрещивать оружие с новыми противниками; можно верить, что он делал это с достаточным успехом: «Искра» доставляла ему хорошие аргументы.

Так как Коба не был привлечен к судебному процессу о демонстрации, то следствие велось жандармами. Методы тайного дознания, как и тюремный режим, отличались значительным разнообразием в разных частях страны: в столице жандармы были культурнее и осторожнее, в провинции – грубее. На Кавказе с его первобытными нравами и колониальными отношениями жандармы прибегали к самым грубым насилиям, особенно по отношению к некультурным, неопытным или слабовольным жертвам. «Давление, угрозы, запугивание, пытка, ложные свидетельские показания, подтасовывание свидетелей, создание и раздувание дела, придание абсолютного значения указаниям тайных агентов, вот отличительные черты ведения дела жандармами». Автор этих строк, уже знакомый нам Аркомед, рассказывает, как при помощи инквизиционных приемов жандармский офицер Лавров добивался заведомо ложных «признаний». Эти впечатления, видимо, крепко запали в сознание будущего Сталина: во всяком случае он сумел через тридцать лет применить методы ротмистра Лаврова в грандиозном масштабе. Из тюремных воспоминаний Лолуа мы узнаем мимоходом, что "товарищ Сосо не любил обращаться к товарищам на *вы*", ссылаясь на то, что на *вы* обращаются к революционерам царские слуги, когда отправляют их на эшафот. На самом деле обращение на *ты* было обычным в революционных кругах, особенно на Кавказе. Через несколько десятилетий Кобе предстоит отправить на эшафот немало старых товарищей, с которыми он, в отличие от «царских слуг», состоял с молодых лет на *ты*. Но до этого еще далеко.

Поразительно, что протоколы допросов Кобы, относящиеся к этому первому аресту, как и ко всем последующим, не опубликованы до сих пор. Организация «Искры» вменяла своим членам в правило отказ от дачи показаний. Революционеры обычно писали: «Я, имярек, социал-демократ по убеждениям; предъявленные мне обвинения отвергаю; от участия в тайном следствии отказываюсь». Только на гласном суде, к которому власти прибегали, однако, лишь в исключительных случаях, искровцы выступали с развернутым знаменем. Отказ от дачи показаний, вполне оправдывавший себя с точки зрения интересов партии в целом, в отдельных случаях отягощал положение арестованных. В апреле 1902 года Коба, как мы видели, пытается при помощи уловки, за которую расплачиваться пришлось другим, установить свое алиби. Можно предполагать, что и в других случаях он больше рассчитывал на свою личную хитрость, чем на норму, обязательную для всех. В результате, серия его показаний имеет, надо думать, не слишком привлекательный, во всяком случае, не «героический» вид. Таково единственно мыслимое объяснение того, почему показания Сталина на допросах тщательно держатся под спудом.

Подавляющее большинство революционеров подвергалось каре в так называемом «административном порядке». По докладу местных жандармов «Особое Совещание» в Петербурге из четырех высоких чиновников от министерства внутренних дел и юстиции выносило заочно приговоры, которые утверждались министром внутренних дел. 25-го июля 1903 года тифлисский губернатор получил из столицы такого рода приговор: выслать под гласный надзор полиции в Восточную Сибирь 16 политических преступников. Имена их в списке расположены, как всегда, в порядке значительности или преступности: сообразно с этим в самой Сибири им отводились худшие или лучшие места поселения. На первом месте в списке стоят Курнатовский и Франчески, подвергшиеся высылке на четыре года. Четырнадцать человек высланы на три года; первое место среди них отведено уже знакомому нам Сильвестру Джигладзе; Иосиф Джугашвили занимает в списке одиннадцатое место. Жандармские власти еще не относили его к числу значительных революционеров.

В ноябре Кобу вместе с другими ссыльными отправляют из Батумской тюрьмы в Иркутскую губернию. С этапа на этап дорога тянулась около трех месяцев. Революция тем временем накатывала, каждый стремился бежать поскорее. К началу 1904 года ссылка успела окончательно превратиться в решето. Бежать было, в большинстве случаев, не трудно: во

всех губерниях существовали свои тайные «центры», фальшивые паспорта, деньги, адреса. Коба оставался в селе Новая Уда не больше месяца, т. е. ровно столько, сколько нужно было, чтобы осмотреться, найти необходимые связи и выработать план действий. Аллилуев, отец второй жены Сталина, рассказывает, что при первой попытке побега Коба обморозил себе лицо и уши и вынужден был вернуться назад. Пришлось запастись более теплой одеждой. Крепкая сибирская тройка при надежном ямщике быстро промчала его по снежному тракту до ближайшей станции железной дороги. Обратный путь через Урал длился уже не три месяца, а какую-нибудь неделю.

Справедливо и уместно будет рассказать здесь вкратце о дальнейшей судьбе инженера Курнатовского, действительного вдохновителя революционного движения в Тифлисе в начале столетия. Просидев два года в военной тюрьме, он сослан был в Якутскую область, откуда побег был неизмеримо труднее, чем из Иркутской губернии. В Якутске по пути Курнатовский принимает участие в вооруженном сопротивлении ссыльных против произвола властей и приговаривается судом к двенадцати годам каторжных работ. Амнистированный осенью 1905 года он достигает Читы, затопленной участниками русско-японской войны, и становится там председателем Совета рабочих, солдатских и казачьих депутатов, главой так называемой «Читинской республики». В начале 1906 года Курнатовский снова арестован и приговорен к смертной казни. Усмиритель Сибири, генерал Ренненкампф, возил за собой в поезде осужденного, чтоб тот видел на всех остановках расстрелы рабочих. В виду нового либерального веяния, в связи с выборами первой Думы, смертную казнь заменили вечным поселением в Сибири. Курнатовскому удалось бежать из Нерчинска в Японию, оттуда в Австралию, где он страшно нуждался, работал лесорубом и надорвал свои силы. Больной, с воспалением в ушах, он кое-как добрался до Парижа. «Исключительно тяжелая доля, – рассказывает Крупская, – скрутила его вконец. Осенью 1910 года, по приезде, мы с Ильичем ходили к нему в больницу». Два года спустя, когда Ленин и Крупская жили уже в Кракове. Курнатовский умер. На плечах Курнатовских и на их трупах революция двигалась вперед.

Революция двигалась вперед. Первое поколение русской социал-демократии, возглавлявшееся Плехановым, начало свою критическую и пропагандистскую деятельность в начале восьмидесятых годов. Пионеры исчислялись единицами, затем десятками. Второе поколение, которое вел за собой Ленин, – он был на 14 лет моложе Плеханова, – выступило на политическую арену в начале девяностых годов. Социал-демократы начали насчитываться сотнями. Третье поколение, состоявшее из людей лет на десять моложе Ленина, включилось в революционную борьбу в конце прошлого и в начале нынешнего столетия. К этому поколению, которое уже привыкло считать тысячами, принадлежали Сталин, Рыков, Зиновьев, Каменев, автор этой книги и другие.

В марте 1898 года съехались в провинциальном городе Минске представители девяти местных комитетов и основали Российскую социал-демократическую рабочую партию. Все участники оказались сейчас же арестованы. Вряд ли резолюции съезда скоро дошли до Тифлиса, где семинарист Джугашвили собирался примкнуть к социал-демократии. Минский съезд, подготовленный ровесниками Ленина, только провозгласил партию, но еще не создал ее. Одного крепкого удара царской полиции оказалось достаточно, чтоб надолго разрушить слабые партийные связи. В течение следующих годов движение, преимущественно экономическое по характеру, пускало местные корни. Молодые социал-демократы вели обычно работу в родном углу, пока подвергались аресту и высылке. Передвижение работников из города в город являлось исключением. Переход на нелегальное положение с целью избежать ареста почти совсем еще не практиковался: не было ни навыков, ни технических средств, ни необходимых связей.

С 1900 года «Искра» начала строить централизованную организацию. Бесспорным вождем в этот период становится Ленин, по праву отодвинувший назад «стариков» с Плехановым во главе. Оперу партийное строительство нашло в несравненно более широком размахе рабочего движения, поднявшего новое революционное поколение, значительно более многочисленное, чем то, из которого вышел сам Ленин. Ближайшая задача «Искры» состояла в том, чтоб отобрать из состава местных работников людей более крупного масштаба и создать из них центральный аппарат, способный руководить революционной борьбой на арене всей страны. Число сторонников «Искры» было значительно, и оно росло. Но число подлинных «искровцев», доверенных агентов заграничного центра, было по необходимости ограничено: оно не превышало двух-трех десятков. Основной чертой искровцев был разрыв со своим городом, губернией, провинцией для строительства партии. «Местничество» являлось в словаре «Искры» синонимом отсталости, узости, почти реакционности. «Сплотившись в небольшую законспирированную группу революционеров-профессионалов, — пишет жандармский генерал Спиридович, — они разъезжали по пунктам, где имелись партийные комитеты, заводили связи с их членами, доставляли им нелегальную литературу, помогали ставить типографии и брали от них сведения, необходимые для „Искры“». Они проникали в местные комитеты, вели в них пропаганду против „экономизма“, вытесняли оттуда своих идейных противников и таким образом подчиняли комитеты своему влиянию». Отставной жандарм дает здесь достаточно правильную характеристику искровцев как членов странствующего ордена, который возвышался над местными организациями, рассматривая их как арену своего воздействия.

В этой ответственной работе Коба не принимал участия. Он был тифлисским социал-демократом, затем батумским, т. е. революционером местного масштаба. Связь Кавказа с «Искрой» и с центральной Россией осуществлялась Красиным, Курнатовским и другими. Вся работа по объединению местных комитетов и групп в централизованную партию совершалась помимо Кобы. Это обстоятельство, которое неоспоримо устанавливается на основе переписки того времени, мемуаров и других документов, очень важно для оценки политического развития Сталина: он продвигается вперед медленно, неуверенно, ощупью.

В июне 1900 года Красин в качестве выдающегося молодого инженера прибыл на ответственную должность в Баку. «Не менее интенсивной, — пишет сам Красин, — была работа и в другой области, а именно подпольная социал-демократическая работа как в самом Баку, так и вообще на Кавказе — в Тифлисе, Кутаиси, Батуме, куда я периодически выезжал для связи с тамошними организациями». В Баку Красин пробыл до 1904 года. Связанный своим официальным положением, он не вел непосредственной работы в массах, так что рабочие не знали о его действительной роли и даже пытались позже добиться его удаления с поста директора электрической станции. Красин имел дело только с верхами организаций: он был руководителем местных руководителей. Из революционеров, с которыми ему приходилось непосредственно соприкасаться, он называет братьев Енукидзе. Ладо Кецоховели, Аллилуева, Шелгунова, Гальперина и др. Но достойно внимания, что человек, ведший руководящую работу на Кавказе с 1900 до 1904 года, ни разу не упоминает о Сталине. Не менее замечательно и то, что еще в 1927 году это умолчание прошло совершенно незамеченным, и автобиография Красина напечатана государственным издательством без всяких примечаний и поправок. Также и в воспоминаниях других большевиков, работавших в те годы на Кавказе или связанных с Кавказом, Сталину не отводится никакого места, разумеется, если самые воспоминания написаны до начала официального пересмотра истории партии, т. е. не позже 1929 года.

В феврале 1902 года должно было состояться в Киеве совещание искровцев, агентов заграничного центра. «На это совещание, — пишет Пятницкий, — съехались представители со всех концов России». Заметив слежку, участники совещания стали поспешно разъезжаться;

однако все они были захвачены, частью в Киеве, частью – в пути. Через несколько месяцев арестованные совершили знаменитый побег из киевской тюрьмы. Коба, работавший в это время в Батуме, никем не приглашался на киевское совещание и, несомненно, даже не знал о нем.

Политический провинциализм Кобы особенно наглядно сказался в его отношении к заграничному центру, вернее – в отсутствии всяких отношений с ним. Роль эмиграции в русском революционном движении, начиная с середины прошлого столетия, оставалась почти неизменно доминирующей. При постоянных арестах, ссылках и казнях в царской России эмигрантские очаги, составлявшиеся из наиболее выдающихся теоретиков, публицистов и организаторов, являлись единственно устойчивыми элементами движения и потому неизбежно налагали на него свою печать. Редакция «Искры» стала в начале столетия бесспорным центром социал-демократии. Отсюда исходили не только политические лозунги, но и практические директивы. Всякий революционер стремился как можно скорее побывать за границей, повидать и послушать вождей, проверить свои взгляды, установить постоянную связь с «Искрой» и, через ее посредство, с подпольными работниками в самой России. В. Кожевникова, одно время близко стоявшая по работе к Ленину за границей, рассказывает, как «началось повальное бегство из ссылки и по дороге в ссылку – за границу, в редакцию „Искры“... а затем – опять на живую работу в Россию». Молодой рабочий Ногин, – чтоб взять один пример из сотни, – бежит в апреле 1903 года из ссылки за границу, «чтобы догнать жизнь», как он пишет одному из своих друзей, «чтобы почитать и поучиться». Через несколько месяцев он уже возвращается нелегально в Россию, в качестве агента «Искры». Все десять участников упомянутого выше киевского побега, в том числе будущий советский дипломат Литвинов, оказались вскоре за границей. Один за другим они затем возвращались в Россию для подготовки съезда партии. Об этих и других доверенных агентах Крупская пишет в своих воспоминаниях: «Со всеми ними „Искра“ вела активную переписку. Владимир Ильич просматривал каждое письмо. Мы знали очень подробно, кто из агентов „Искры“ что делает, и обсуждали с ними всю их работу; когда между ними рвались связи, связывали их между собою, сообщали о провалах и пр.» Среди агентов были как сверстники Ленина, так и сверстники Сталина. Но самого Кобу мы совершенно еще не встречаем среди этого верхнего слоя революционеров, насадителей централизма, строителей объединенной партии. Он остается «местным работником», кавказцем и провинциалом до мозга костей.

В июле 1903 года собрался, наконец, в Брюсселе подготовленный «Искрой» съезд партии; под давлением царской дипломатии и послушной ей бельгийской полиции он оказался вынужден перенести свои работы в Лондон. Съезд принял программу, выработанную Плехановым, и вынес тактические резолюции; но, когда дело дошло до организационных вопросов, среди самих искровцев, господствовавших на съезде, возникли неожиданно разногласия. Обе стороны, и «твердые» во главе с Лениным, и «мягкие» во главе с Мартовым полагали вначале, что разногласия не имеют глубоких корней; тем более поразительной казалась их острая форма. Только что объединенная партия внезапно очутилась перед гранью раскола.

«Еще в 1903 году, сидя в тюрьме и узнав от приехавших со Второго съезда товарищей о серьезнейших разногласиях между большевиками и меньшевиками, Сталин решительно примыкает к большевикам». Так гласит биография, написанная под диктовку самого Сталина и имеющая характер инструкции историкам партии. Было бы, однако, неосторожно отнестись к этой инструкции с излишним доверием. На съезде, приведшем к расколу, участвовало три кавказских делегата. С кем из них и как именно встретился Коба, находившийся в одиночном заключении? Как и в чем выразилась его солидарность с большевизмом? Единственное подтверждение версии Сталина исходит от Иремашвили. «Коба, который всегда

был восторженным сторонником ленинских насильственных методов, — пишет он, — сейчас же, конечно, встал на сторону большевизма и сделался его ревностнейшим защитником и вождем в Грузии». Однако это свидетельство, несмотря на всю свою категоричность, представляет явный анахронизм. До съезда никто, в том числе и сам Ленин, не противопоставляли еще «ленинских насильственных методов» методам других членов редакции, будущих вождей меньшевизма. На самом съезде споры вовсе не шли о революционных методах: тактические разногласия еще не возникли. Иремашвили явно ошибается, и немудрено: весь 1903 год Коба просидел в тюрьме, непосредственных впечатлений от него у Иремашвили быть не могло. Нужно к тому же вообще сказать, что если бытовые и психологические воспоминания «второго Сосо» представляются вполне убедительными и при проверке почти всегда находят подтверждение, то с его политическими наблюдениями дело обстоит гораздо хуже. Ему, видимо, не хватало ни чутья, ни подготовки, чтоб понимать эволюцию враждовавших революционных течений; в этой области он дает ретроспективные догадки, продиктованные его собственными позднейшими взглядами.

Споры на Втором съезде вспыхнули на самом деле вокруг вопроса о том, кого считать членом партии: только лишь членов нелегальной организации или всякого, кто систематически участвует в революционной борьбе под руководством местных комитетов. Во время прений Ленин говорил: «Я вовсе не считаю наше разногласие таким существенным, чтоб от него зависела жизнь или смерть партии. От плохого пункта устава мы еще не погибнем». К концу съезда разногласия распространились на вопрос о личном составе редакции «Искры» и Центрального Комитета; но за эти узкие пределы они так и не вышли. Ленин добивался резких и отчетливых границ партии, узкого состава редакции и суровой дисциплины. Мартов и его друзья тяготели к расплывчатости и семейным нравам. Однако обе стороны только нащупывали свои пути и, несмотря на остроту конфликта, никто не считал еще разногласия «серьезнейшими». По позднему меткому выражению Ленина, борьба на съезде имела характер «антиципации».

«Наибольшей трудностью в этой борьбе было именно то, — писал впоследствии Луначарский, первый советский руководитель просвещения, — что Второй съезд, расколовший партию, не нащупал настоящих глубоких разногласий между мартовцами, с одной стороны, и ленинцами — с другой. Разногласия эти все еще казались вращающимися вокруг одного параграфа устава и личного состава редакции. Многих смущала незначительность повода, приведшего к расколу». Пятницкий, будущий видный чиновник Коминтерна, а в ту пору молодой рабочий, пишет в своих воспоминаниях: «Мне было непонятно, почему мелкие разногласия мешают работать вместе». «Мне лично, — вспоминает инженер Кржижановский, близко стоявший к Ленину в те годы, впоследствии глава Госплана, — особенно дикой казалась мысль об оппортунизме товарища Мартова». Таких свидетельств много. Из Петербурга, из Москвы, из провинции шли протесты и вопли. Никто не хотел признать возникший на съезде раскол среди искровцев. Размежевание происходило в течение ближайшего периода медленно, с неизбежными перемещениями в ту и другую сторону. Нередко первые большевики и меньшевики продолжали еще мирно работать вместе.

На Кавказе с его отсталой социальной средой и низким политическим уровнем происшедшее на съезде понимали меньше, чем где бы то ни было. Правда, все три кавказских делегата сгоряча примкнули в Лондоне к большинству. Но замечательно, что все три в дальнейшем стали меньшевиками: Топуридзе откололся от большинства уже в конце самого съезда; Зурабов и Кнунианц перешли на сторону меньшевиков в течение ближайших лет. Знаменитая кавказская нелегальная типография, в которой преобладали большевистские симпатии, продолжала в 1904 году перепечатывать меньшевистскую «Искру», оставшуюся формально центральным органом партии. «Наши разногласия, — пишет Енукидзе, — абсолютно не отразились на работе». Только после Третьего съезда партии, следовательно, не раньше середины

1905 года, типография перешла в распоряжение ЦК большевиков. Нет, следовательно, никакой возможности доверять тому, что Коба, сидя в захолустной тюрьме, сразу оценил разногласия как «серьезнейшие». Антиципация никогда не была его сильной стороной. Да вряд ли можно было бы поставить в вину даже менее осторожному и подозрительному молодому революционеру, если бы он отправился в Сибирь, не заняв открытой позиции во внутривнутрипартийной борьбе.

Из Сибири Коба вернулся прямо в Тифлис: факт этот не может не вызвать удивления. Сколько-нибудь заметные беглецы редко возвращались на родину, где им слишком легко было попасться на глаза полиции, тем более, когда дело шло не о Петербурге или Москве, а о небольшом провинциальном городе, как Тифлис. Но молодой Джугашвили еще не перерезал кавказской пуповины; языком пропаганды является для него еще почти исключительно грузинский; он еще не чувствует себя, к тому же, в фокусе внимания полиции. Испробовать свои силы в центральной России он пока еще не решает. Его не знают за границей и его самого не влечет туда. В том же направлении действовала, видимо, более интимная причина: если Иремашвили не сбивается в хронологии, Коба был уже к этому времени женат; во время его заключения и ссылки его юная жена оставалась в Тифлисе.

Война с Японией, начавшаяся в январе 1904 года, на первых порах ослабила рабочее движение, чтоб уже к концу года придать ему небывалый размах. Военные поражения царизма быстро развеяли патриотические настроения, ударившие в голову либеральным и отчасти студенческим кругам. Пораженчество, хоть и с разным коэффициентом, все более охватывало не только революционные массы, но и оппозиционную буржуазию. Несмотря на все это, социал-демократия перед предстоявшим ей вскоре грандиозным подъемом переживала месяцы застоя и внутреннего недоумения. Изнуряющие, ибо еще неопределенные разногласия между большевиками и меньшевиками лишь постепенно вырываются из тесной организационной кухни, чтобы охватить впоследствии всю область революционной стратегии.

«Работа Сталина за период 1904-05 годов проходит под флагом ожесточенной борьбы с меньшевизмом», – говорит официальная биография. «Он буквально на своих плечах вынес всю борьбу с меньшевиками на Кавказе, начиная с 1904 и кончая 1908 г.», – пишет Енукидзе в своих заново переделанных воспоминаниях. Берия утверждает, что после побега из ссылки Сталин «организует и направляет борьбу против меньшевиков, которые после Второго съезда партии, за время отсутствия тов. Сталина, особенно активизировались». Эти авторы хотят слишком много доказать. Если принять на веру, что Сталин уже в 1901-03 годах играл в кавказской социал-демократии руководящую роль; что он с 1903 года примкнул к большевикам и с февраля 1904 года приступил к борьбе с меньшевизмом, то приходится в изумлении остановиться перед тем фактом, что все его усилия дали столь плачевные результаты: грузинские большевики накануне революции 1905 года исчислялись буквально единицами. Ссылка Берия на то, что меньшевики особенно активизировались «за время отсутствия Сталина», звучит почти как ирония: мелкобуржуазная Грузия, включая Тифлис, оставалась крепостью меньшевизма в течение двух десятилетий, совершенно независимо от чьего-либо присутствия или отсутствия. В революции 1905 года грузинские рабочие и крестьяне шли безраздельно за меньшевистской фракцией; во всех четырех Думах Грузия была неизменно представлена меньшевиками; в Февральской революции 1917 года грузинский меньшевизм выдвинул вождей общероссийского масштаба: Церетели, Чхеидзе и др. Наконец, уже после установления советской власти в Грузии, меньшевизм все еще сохранял большое влияние, которое выразилось позже в восстании 1924 года. «Всю Грузию надо перепахать», – так резюмировал Сталин осенью 1924 года, т. е. через двадцать лет после того, как он «открыл ожесточенную борьбу с меньшевизмом». Будет поэтому правильнее и справедливее по отно-

шению к самому Сталину, если мы не станем преувеличивать роль Кобы в первые годы столетия и рисовать его подвиги чересчур титаническими чертами.

Коба вернулся из ссылки со званием члена Кавказского Комитета, в состав которого он был выбран заочно, во время своего заключения в тюрьме, на конференции закавказских организаций. Возможно, что большинство членов Комитета — их было восемь — уже сочувствовало в начале 1904 года большинству лондонского съезда; но это обстоятельство ничего не говорит еще о симпатиях самого Кобы. Местные кавказские организации явно тянули в сторону меньшевиков. Примиренческий Центральный Комитет партии под руководством Красина выступал в это время против Ленина. «Искра» находилась полностью в руках меньшевиков. В этих условиях Кавказский Комитет со своими большевистскими симпатиями казался повисшим в воздухе. Между тем Коба предпочитал прочную почву под ногами. Аппарат он ценил выше, чем идею.

Официальные сведения о работе Кобы в 1904 году крайне неопределенны и недостоверны. Вел ли он работу в Тифлисе и в чем она состояла, остается неизвестным. Вряд ли беглец из Сибири мог появляться на рабочих кружках, где его многие знали. Вероятно по этой именно причине Коба уже в июне переезжает в Баку. Об его деятельности там сообщаются стереотипные фразы: «Направляет борьбу бакинских большевиков... разоблачает меньшевиков». Ни одного факта, ни одного воспоминания! Если перу Кобы принадлежали какие-либо документы за эти месяцы, то они тщательно скрыты и, надо думать, не случайно.

Ни на чем не основаны, с другой стороны, запоздалые попытки представить Сталина основоположником бакинской социал-демократии. Первые рабочие кружки в дымном и мрачном городе, отравленном татаро-армянской враждой, возникли еще в 1896 году. Основание более оформленной организации положил три года спустя А. Енукидзе совместно с несколькими высланными из Москвы рабочими. В самом начале столетия тот же Енукидзе в сотрудничестве с Ладом Кецховели создал бакинский Комитет «искровского» направления. Благодаря братьям Енукидзе, тесно связанным с Красиным, в Баку была поставлена в 1903 году большая подпольная типография, сыгравшая исключительную роль в подготовке первой революции. Это та самая типография, в которой большевики и меньшевики дружно работали вместе до середины 1905 года. Когда постаревший Амель Енукидзе, многолетний секретарь ЦИКа, впал в опалу, его заставили в 1935 году переделать заново свои воспоминания 1923 года, противопоставив установленным фактам голые фразы о вдохновляющей и руководящей роли Сосо на Кавказе, в частности в Баку. Самого Енукидзе эти унижения не спасли от гибели, а к биографии Сталина они не прибавили ни одного живого штриха.

В тот момент, когда Коба появился впервые на бакинском горизонте — июнь 1904 года — местная социал-демократическая организация имела за собой восьмилетнюю историю, причем за последний год «Черный город» играл уже крупную роль в рабочем движении. Предшествующей весной в Баку вспыхнула всеобщая стачка, послужившая сигналом целой волны стачек-демонстраций, прокатившихся по югу России. Вера Засулич первой оценила эти события как начало революции. Благодаря более пролетарскому характеру Баку, особенно по сравнению с Тифлисом, большевикам удалось укрепиться здесь раньше и прочнее, чем в остальном Кавказе. По сообщению Махарадзе — того самого, который некогда характеризовал Сталина тифлисской кличкой «кинто» — осенью 1904 года создана была в Баку «под непосредственным руководством Сосо» специальная организация для революционной работы среди наиболее отсталых нефтепромышленных рабочих, татар (азербайджанцев) и персов. Это свидетельство вызывало бы меньше сомнений, если бы Махарадзе сделал его в первом издании своих воспоминаний, а не десять лет спустя, когда он, под хлыстом Берия, переделал заново всю историю кавказской социал-демократии. Метод постепенного приближения к официальной «истине» дополняется тем, что все предшествующие издания книги объявляются порождениями злого духа и изымаются из оборота.

По возвращении из Сибири Коба встречался несомненно с Каменевым, уроженцем Тифлиса и одним из первых молодых последователей Ленина. Возможно, что именно Каменев, только что прибывший из-за границы, содействовал обращению Кобы в большевизм. Но имя Каменева подверглось изгнанию из истории партии за несколько лет до того, как сам Каменев был расстрелян по фантастическому обвинению. Во всяком случае действительная история кавказского большевизма начинается не с возвращения Кобы из ссылки, а с осени 1904 года. В разной связи эта дата устанавливается даже официальными авторами, поскольку они не вынуждены говорить специально о Сталине. В ноябре 1904 года большевистская конференция, собравшаяся в Тифлисе в составе 15 делегатов от местных организаций на Кавказе, в большинстве мелких групп, приняла решение в пользу созыва нового съезда партии. Это был прямой акт объявления войны не только меньшевикам, но и примиренческому Центральному Комитету. Если бы на первой конференции кавказского большевизма участвовал Коба, Берия и другие, историки неизбежно сообщили бы, что конференция прошла «по инициативе и под руководством т. Сталина». Полное молчание на этот счет означает, что Коба, находившийся в это время на Кавказе, не участвовал в конференции. Значит, ни одна большевистская организация не делегировала его. Конференция избрала Бюро. Коба не вошел в этот руководящий орган. Все это было бы немыслимо, если бы он занимал сколько-нибудь видное положение среди кавказских большевиков.

В. Таратута, участвовавший в конференции делегатом от Батума – впоследствии член ЦК партии – дает совершенно точное и неоспоримое указание относительно того, кто именно из большевиков играл тогда на Кавказе руководящую роль. «На Кавказской областной конференции в конце 1904 года или в начале 1905 года, – пишет он, – ...я впервые встретил и т. Каменева, Льва Борисовича, в качестве руководителя местных большевистских организаций. На этой областной конференции т. Каменева выбрали в качестве разъездного по всей стране агитатора и пропагандиста за созыв нового съезда партии, причем ему же было поручено объезжать комитеты всей страны и связаться с нашими заграничными центрами того времени». Об участии в этой работе Кобы авторитетный свидетель не говорит ни слова.

При этих условиях не могло быть, конечно, и речи о включении Кобы в общероссийский центр большевиков, семичленное «Бюро комитетов большинства», образованное для созыва съезда. Представителем Кавказа вошел в Бюро Каменев. Из других прославившихся впоследствии советских деятелей мы находим в списке членов Бюро имена Рыкова и Литвинова. Не мешает прибавить, что Каменев и Рыков были на два-три года моложе Сталина. Да и вообще Бюро состояло, в большинстве своем, из представителей «третьего» поколения.

В декабре 1904 года, т. е. вскоре после состоявшейся в Тифлисе большевистской конференции, Коба вторично приезжает в Баку. Накануне его приезда на нефтяных промыслах и заводах вспыхивает всеобщая стачка, неожиданно для всей страны. Партийные организации еще явно не отдавали себе достаточного отчета в мятежном настроении масс, обостренном первым годом войны. Бакинская забастовка непосредственно предшествует знаменитому Кровавому Воскресенью в Петербурге, 9 января 1905 года, трагическому шествию рабочих под руководством священника Гапона к Зимнему дворцу. Одно из «воспоминаний», сфабрикованных в 1935 году, глухо упоминает, что Сталин руководил в Баку стачечным комитетом и что все совершалось под его руководством. Но, по словам того же автора, Коба прибыл в Баку после начала стачки и оставался в городе всего 10 дней. На самом деле он приезжал по специальному поручению, может быть, связанному с подготовкой съезда: в это время он, пожалуй, уже сделал свой выбор в пользу большевизма.

Сам Сталин пытался отодвинуть назад дату своего присоединения к большевикам. Не довольствуясь ссылкой на то, что он еще в тюрьме стал большевиком, он рассказал в 1924 году, на вечере военных курсантов Кремля, будто его связь с Лениным установилась еще со

времени его первой ссылки. «Впервые я познакомился с тов. Лениным в 1903 году. Правда, это знакомство было не личное, а заочное, в порядке переписки. Но оно оставило во мне неизгладимое впечатление, которое не покидало меня за все время моей работы в партии. Я находился тогда в Сибири, в ссылке. Знакомство с революционной деятельностью тов. Ленина с конца 90-х годов и особенно после 1901 года, после издания „Искры“, привело меня к убеждению, что мы имеем в лице тов. Ленина человека необыкновенного. Он не был тогда в моих глазах простым руководителем партии, он был ее фактическим создателем, ибо один понимал внутреннюю сущность и неотложные нужды нашей партии. Когда я сравнивал его с остальными руководителями нашей партии, мне все время казалось, что соратники тов. Ленина – Плеханов, Мартов, Аксельрод и другие – стоят ниже тов. Ленина целой головой, что Ленин в сравнении с ними не просто один из руководителей, а руководитель высшего типа, горный орел, не знающий страха в борьбе и смело ведущий вперед партию по неизведанным путям русского революционного движения. Это впечатление так глубоко запало мне в душу, что я почувствовал необходимость написать о нем одному своему близкому другу, находившемуся в эмиграции, требуя от него отзыва. Через несколько времени, будучи уже в ссылке в Сибири – это было в конце 1903 года – я получил восторженный ответ моего друга и простое, но глубоко содержательное письмо тов. Ленина, которого, как оказалось, познакомил мой друг с моим письмом. Письмецо тов. Ленина было сравнительно небольшое, но оно давало смелую, бесстрашную критику практики нашей партии и замечательно ясное и сжатое изложение всего плана работы партии на ближайший период. Только Ленин умел писать о самых запутанных вещах так просто и ясно, сжато и смело, когда каждая фраза не говорит, а стреляет. Это простое и смелое письмо еще больше укрепило меня в том, что мы имеем в лице Ленина горного орла нашей партии. Не могу себе простить, что это письмо тов. Ленина, как и многие другие письма, по привычке старого подпольщика, я предал сожжению. С этого времени началось мое знакомство с тов. Лениным».

В этом рассказе, столь характерном для Сталина своей психологической и стилистической примитивностью, ошибочна уже хронология. Коба прибыл в ссылку только в 1903 году. Не вполне ясно, далее, откуда и когда он писал «одному своему близкому другу» за границей, так как сам он до высылки в Сибирь просидел полтора года в тюрьме. Ссылные никогда не знали заранее, в какой пункт они будут направлены, так что Коба не мог сообщить своевременно свой сибирский адрес за границу и успеть получить оттуда ответ в течение того единственного месяца, который он провел в ссылке. Согласно изложению самого Сталина, письмо Ленина носило не личный, а программный характер. Такого рода письма рассылались Крупской по ряду адресов и в оригинале сохранялись в заграничном архиве. Вряд ли в данном случае было сделано исключение для неизвестного молодого кавказца. Но в архиве нет того письма, копию которого Коба сжег «по привычке старого подпольщика» (ему в это время было ровно 24 года). Больше всего, однако, удивляет тот факт, что Сталин ничего не упоминает о своем ответе Ленину. Получив письмо от боготворимого им, по собственным словам, вождя Коба, разумеется, немедленно же ответил бы ему. Но Сталин молчит об этом, и молчит не случайно: в архиве Ленина и Крупской ответного письма Кобы нет. Если допустить, что оно было перехвачено полицией, копия его непременно сохранилась бы в папках департамента полиции и была бы давно воспроизведена в советской печати. Наконец, дело ни в каком случае не могло бы ограничиться одним письмом. Молодой социал-демократ не мог не дорожить постоянной связью с вождем партии, «горным орлом». Со своей стороны, Ленин очень дорожил связью с Россией и аккуратно отвечал на каждое письмо. Между тем, никакой корреспонденции между Лениным и Кобой не возникло в течение ближайших лет. Все вызывает недоумение в этом рассказе, кроме его цели.

В жизни Ленина 1904 год был, пожалуй, самым тяжелым, если не считать последних годов болезни. Не желая и не предвидя того, он порвал со всеми выдающимися деяте-

лями русской социал-демократии и долго не находил никого, кто мог бы заменить вчерашних соратников. Только постепенно подбирались большевистские литераторы, к тому же далеко уступавшие редакторам «Искры». Лядов, один из активных большевиков того времени, находившийся в 1904 году с Лениным в Женеве, рассказывал двадцать лет спустя: «Приехал Ольминский, приехал Воровский, приехал Богданов... ждали мы приезда Луначарского, за которого Богданов ручался, что он по приезде обязательно примкнет к нам». Все эти лица возвращались из ссылки, о них знали заранее, их ждали. Но при подготовке фракционной газеты никто не поднимал вопроса о Кобе, которого теперь изображают как уже выдающегося в тот период большевистского деятеля. 22-го декабря выходит, наконец, в Женеве первый номер газеты «Вперед». Коба не имел никакого отношения к этому знаменательному событию в жизни фракции. Он не вошел в сношения с редакцией. В газете нет ни его статей, ни корреспонденций. Это было бы совершенно невозможно, если бы он в то время был лидером кавказских большевиков.

Мы имеем, наконец, прямое документальное свидетельство в пользу вывода, сделанного нами по косвенным признакам. В 1911 году начальник тифлисского охранного отделения Карпов в обширной и крайне интересной справке, посвященной Иосифу Джугашвили, — мы еще встретимся с ней в дальнейшем, — писал: «С 1902 г. он работал в социал-демократической организации, сначала меньшевиком, а потом большевиком». Доклад Карпова есть единственно известный нам документ, где совершенно категорически утверждается, что в течение известного периода после раскола Сталин был меньшевиком. Неосторожно напечатавшая 23-го декабря 1925 года этот документ тифлисская «Заря Востока» не догадалась или не сумела дать какие-либо пояснения. Можно не сомневаться, что редактор жестоко поплатился позже за свой промах. Но крайне знаменательно, что и сам Сталин не нашел возможным дать опровержение. Ни один из официальных биографов или историков партии не возвращался больше к этому важному документу, тогда как десятки незначительных бумажонков воспроизводились, цитировались, фотографировались без конца. Если допустить на минуту, что тифлисская жандармерия, которая, во всяком случае, должна была быть наиболее осведомленной в этом вопросе, дала ложную справку, то немедленно возникает дополнительный вопрос: каким образом оказалось возможным подобное недоразумение? Если бы Коба действительно стоял во главе кавказских большевиков, охранное отделение не могло бы этого не знать. Совершить столь грубую ошибку политической характеристики оно могло бы только в отношении какого-либо зеленого новичка или третьестепенной фигуры, ни в каком случае не в отношении «вождя». Так один случайно прорвавшийся в печать документ сразу разрушает с большим трудом воздвигнутый официальный миф. А сколько подобных документов хранится в несоразмерных шкафах или, наоборот, заботливо предано сожжению!

Может казаться, что мы затратили слишком много времени и усилий для обоснования очень скромного вывода: не все ли равно, в самом деле, примкнул ли Коба к большевизму в середине 1903 года или накануне 1905 года? Однако этот скромный вывод помимо того, что он раскрывает перед нами попутно механику кремлевской историографии и иконографии, имеет серьезное значение для понимания политической личности Сталина. Большинство писавших о нем принимает его переход на сторону большевизма как нечто естественно вытекающее из его характера и, так сказать, само собой разумеющееся. Такой взгляд нельзя не признать односторонним. Твердость и решительность предрасполагают, правда, к принятию методов большевизма; однако сами по себе эти черты еще не решают. Люди твердого склада встречались и среди меньшевиков, и среди социалистов-революционеров. С другой стороны, не так уж редки были мягкие люди в среде большевиков. Большевизм вовсе не исчерпывается психологией и характером; он представляет прежде всего историческую философию и политическую концепцию. Рабочие — в известных исторических условиях — толкаются на путь большевизма всем своим социальным положением, притом почти неза-

висимо от твердости или мягкости индивидуальных характеров. Интеллигенту нужно было незаурядное политическое чутье и теоретическое воображение, исключительное доверие к диалектике исторического процесса и к революционным качествам рабочего класса, чтобы серьезно и прочно связать с большевистской партией свою судьбу в то время, когда сам большевизм представлял собою лишь историческую антиципацию. Подавляющее число интеллигентов, примкнувших к большевизму в период революционного подъема, покинули его в следующие годы. Кобе труднее было примкнуть, но труднее и порвать. Ни теоретического воображения, ни исторического чутья, ни дара предвосхищения у него не было, как не было, с другой стороны, и легкомыслия. Интеллект его всегда оставался ниже его воли. В сложной обстановке, лицом к лицу с новыми факторами, Коба предпочитает выжидать, молчать или отступать. Во всех тех случаях, где ему придется выбирать между идеей и аппаратом, он неизменно будет склоняться на сторону аппарата. Программа должна создать свою бюрократию прежде, чем Коба почувствует к ней уважение. Недоверие к массам, как и к отдельным людям, составляет основу его натуры. Его эмпиризм всегда влечет его на путь наименьшего сопротивления. Оттого этот революционер короткого прицела будет на всех больших поворотах истории занимать, как правило, оппортунистическую позицию, чрезвычайно сближающую его с меньшевиками и даже ставящую иногда вправо от них. Но в то же время он будет неизменно тяготеть к самым решительным действиям для разрешения усвоенных им задач. Хорошо организованное насилие кажется ему при всех условиях кратчайшим расстоянием между двумя точками. Здесь напрашивается аналогия. Русские террористы были, по сути дела, мелкобуржуазными демократами, но крайне решительными и смелыми. Марксисты не раз называли их «либералами с бомбой». Сталин был и остается политиком золотой середины, не останавливающимся, однако, перед самыми крайними средствами. Стратегически он – оппортунист; тактически – «революционер». В своем роде оппортунист с бомбой. Мы будем иметь достаточно случаев проверить эту формулу на дальнейшем протяжении его жизни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Стоимость полной версии книги 49,90р. (на 06.04.2014).

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.